П.И.ЛАВУТ
МАЯКОВСКИЙ ЕДЕТ ПО СОЮЗУ
ВОСПОМИНАНИЯ
OZON.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор книги ездил с Маяковским по стране в 1926–1930 гг., помогая ему в организации многочисленных творческих вечеров.

Книга представляет собой воспоминания, освещающие главным образом работу поэта в пути: тут и встречи его с попутчиками по вагону, и беседы с молодыми начинающими литераторами в гостиницах, и публичные выступления в разнообразных аудиториях. Приводится ряд ответов на записки, поступавшие из зала. Очень ценен материал, раскрывающий источники отдельных произведений, созданных непосредственно в дорожной обстановке.

Книга дает представление о кипучей работе поэта и о большом влиянии поездок на творчество Маяковского. Автор подробно пишет о последних днях жизни поэта, приводит факты, позволяющие полнее и ярче воссоздать облик Маяковского — поэта, человека, гражданина.

- Начало
- ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ
- «РАЗГОВОР-ПУТЕШЕСТВИЕ»
- «Поп или мастер!»
- «МАЯКОВСКИЙ ВО ВЕСЬ РОСТ»
- ВОЛГА — ЗИМОЙ
- ДВА ПОЭТА
- НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ
- ПЯТЫЙ ТОМ
- ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ДЕТСКОГО САДА
- «ХОРОШО!»
- В ЛЕНИНГРАДЕ
- В РОДНЫЕ КРАЯ
- НА УРАЛ
- «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ УКРАИНСКУЮ НОЧЬ!»
- ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА!.
- ПРОГРАММНЫЕ ВЕЧЕРА
- ВЫСТАВКА
- НЕПОПРАВИМОЕ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

○ 50
○ 51
○ 52
○ 53
○ 54
○ 55
○ 56

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг.

В.В.Маяковский

Начало

В декабре 1921 года я служил в Харькове — был драматическим актером. Подвизался изредка в качестве чтеца. В моем более чем скромном репертуаре было и несколько стихотворений Маяковского: «Наш марш», «Левый марш»… Признаюсь: я читал их тогда с эстрады не потому, что очень любил: попросту нужен был современный, оригинальный репертуар. Стихи звучали эффектно, имели успех.

Однажды у здания Героического театра (именно так назывался обыкновенный драматический театр) я увидел большой рукописный плакат с броским, красочным заголовком: «ДЮВЛАМ». Расшифровывался он так: «Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского».

Вечер этот состоялся 15 декабря. Заметного следа в моей душе и памяти он не оставил. Но у меня был друг яростный поклонник Маяковского. Он и увлек меня за кулисы, чтобы познакомиться с поэтом. И вот мы робко жмем Маяковскому руку, благодарим…

Там, за кулисами, и состоялась моя первая встреча с Владимиром Владимировичем.

Долгое время я почти не вспоминал об этом эпизоде. Я говорю «почти», потому что впоследствии я как-то мельком напомним о нем Маяковскому. Ответной реакции не было: в тот день приходило много народу, и поэт не обратил внимания ни на моего пылкого друга, ни тем более на меня.

Четыре года спустя я, работая уже в Москве, попал в Политехнический на вечер Маяковского «Мое открытие Америки». Впечатление — потрясающее. Трудно ответить на вопрос, что именно меня больше всего поразило — доклад, стихи или сам оратор и чтец. Все вместе, пожалуй. Маяковский открылся мне таким, каким я его, конечно, до сих пор не знал.

Через полгода произошло мое третье с ним знакомство. Оно было более основательным.

Поезд вез Маяковского к морю. По счастливому совпадению я ехал из Москвы в Одессу тем же составом, только в другом вагоне. Я наблюдал, как он почти на всех стоянках шагал по перрону, осматривая вокзалы и газетные киоски, но не подошел к нему.

Я находился тогда на распутье: из одного театра ушел, в другой не пришел. Из Одессы собирался к родным, в Крым.

Первый вечер Маяковского в Одессе — в летнем театре сада имени Луначарского. Поэт рассказывал о поездке в Америку,

читал стихи. Я был на этом вечере. И опять — впечатление огромное. Решил во что бы то ни стало встретиться с ним, ближе познакомиться. Заодно возникла мысль предложить свою помощь в организации его выступлений. Тем паче до меня дошел слух, что он тоже едет в Крым. Я был уверен: его вечера можно организовать лучше.

…Дворец моряка. Народ собирался туго. Высокий, широкоплечий человек с внушительной палкой в руках шагал по пустой сцене. Он нервничал. В углу рта — папироса. Не докурив одну, он прикуривал от старой новую, не найдя урны, бросал окурки в угол и тушил ногой.

Он был один. Я воспользовался этим:

— Здесь, в Одессе, ходят слухи, что вы едете в Крым?

— И представьте себе: слухи — правильные.

— Вы не собираетесь выступать там?

— Кому охота со мной возиться, когда даже в Одессе я не собрал публики?

Я был убежден, что неполный зал — следствие прежде всего нечеткой организации. Об этом я и сказал Владимиру Владимировичу:

— Уверен, что на курортах интерес к вашим выступлениям будет большой. Я бы попробовал, если вы не возражаете, взяться за это дело, тем более что еду сейчас в Севастополь.

— Попробуем! Приходите ко мне завтра ровно в час в «Лондонскую». Не опаздывайте.

В несколько минут мы обо всем договорились. Маяковский стал сочинять афишу. Заглавие «Мое открытие Америки» он заменил другим: «Испания. Атлантический океан. Гавана. Нью-Йорк. Америка. Чикаго и многое проч.».

Думаю, неудачу в Одессе он в какой-то мере связывал с тем, что содержание его вечеров не сразу раскрывалось в афише: там повторялось название недавно вышедшей книги.

Существо доклада, или, как говорил Маяковский, «разговора-путешествия», он не изменил. Но к стихам и поэмам «о разных странах» добавил несколько новых, в том числе «Сергею Есенину»:

— Его надо выделить крупно! Сильная вещь! И само название должно привлечь!

Я предложил ему закрепить наши деловые отношения документом, который может пригодиться в поездках.

— Не советую, — ответил он. — В дальнейшем знайте: если я подпишу договор, могу и не выполнить. А устно никогда не подведу.

Прощаясь, он добавил:

— Если работа наладится, мы развернем ее вовсю. Дел непочатый край.

Я всецело отдался далеко не легкому, но увлекательному делу организатора, окончательно забросив театр. С этого момента возникли те отношения, которые накрепко связали меня с Маяковским. Они продолжались до последнего дня его жизни.

За эти годы поэт посетил более пятидесяти городов, не считая Москвы, и провел в них двести с лишним выступлений. В некоторых он бывал не раз — в Харькове, Ленинграде, Одессе, Киеве, Ростове, Минске… Поездки эти находили отражение в его творчестве. Он работал всюду: в поезде, на вокзале,в автомобиле, на улице, работал, находясь в движении:

«Подымает площадь шум, экипажи движутся, я хожу, стишки пишу в записную книжицу».

В словах этих нет поэтического вымысла. Все правда. В поездках он находил темы, сюжеты, образы, рифмы.

Владимир Владимирович рассказывал мне, как однажды на шумном перекрестке Парижа его чуть не сбила машина; пострадали только брюки, которые он потом долго очищал. Вот откуда строки:

«Мчат авто по улице, а не свалят наземь. Понимают умницы: человек в экстазе».

У Маяковского много заграничных стихов. Но куда больше стихов, рожденных его поездками по Советскому Союзу. Порой казалось, что в своей московской квартире он только гость: остановился здесь на время, чтобы двинуться дальше в путь. Недаром он писал в автобиографии:

«Вторая работа — продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю».

И об этом же стихами:

«На сотни эстрад бросает меня, на тысячу глаз молодежи. Как разны земли моей племена, и разен язык и одежи!».

1927 год можно назвать «болдинским» годом Маяковского. Поэт провел вне Москвы 181 день — то есть полгода (из них пять недель за границей), посетил 40 городов и свыше 100 раз выступил (не считая диспутов и литературных вечеров в Москве). Часто приходилось выступать по два-три раза в день. Каждое выступление требовало огромного напряжения: оно длилось в среднем около трех часов. В том же году он написал 70 стихотворений (из них 4 для детей), 20 статей и очерков, 3 киносценария и, наконец, поэму «Хорошо!».

Как же так? — спросит читатель. — Полгода разъезжал и успел так много написать?

Ответ прост.

Как я уже сказал, он писал в движении, как в прямом, так и переносном смысле слова, то есть в пути. Подчас в дороге он работал интенсивнее, чем в Москве.

Маяковский мечтал о большой читательской аудитории.

— Один мой слушатель, — говорил он, — это десять моих читателей в дальнейшем.

Поездки питали его творчество. Они же прокладывали путь к сердцам читателей.

О путешествиях поэта по нашей стране я и хочу рассказать.

Надеюсь, мой рассказ приблизит образ великого поэта к читателям, поможет понять время, в которое он жил, его героический труд, понять и еще больше полюбить его творчество.

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

Крымские выступления должны были начаться в Севастополе, в клубе моряков имени Лейтенанта Шмидта.

Расходы взял на себя местный комитет МОПРа. (МОПР — Международная организация помощи борцам революции. Сбор от вечера поступал в пользу МОПРа.) Его работник, подписавший договор, безответственно отнесся к делу, плохо подготовил вечер. Пришло мало народу. Тогда он решил сорвать выступление Маяковского, оклеветал его, обвинив в рвачестве и других грехах. Он соответственно настроил начальство, и у местных руководителей МОПРа создалось ложное представление о Маяковском.

Владимир Владимирович, узнав об этом, отказался от гонорара и готов был сам возместить все убытки. Он сказал: «Пусть вернут публике деньги за билеты, я выступлю бесплатно». Но слух, дискредитирующий Маяковского, уже дошел и до публики. И скандал не удалось предотвратить.

В зале собралось менее ста человек. Когда Маяковский вышел на сцену, ему не дали говорить: свистели и топали. Публика демонстративно хлынула в фойе.

Оскорбленный и возмущенный, Маяковский взобрался на стол в фойе и, нервно размахивая палкой, пытался перекричать.

Владимир Владимирович провел очень тяжелую ночь. А утром написал письмо и адресовал его в две газеты: «Маяк коммуны» и «Красный черноморец».[1] После этого он отправился в райком партии и настаивал на том, чтобы наказали виновных. В райкоме его поддержали.

8 июля было опубликовано письмо Маяковского: «Приношу большое извинение всем собравшимся 6 июля на мою несостоявшуюся лекцию, причина срыва лекции — неумелость организаторов и их нежелание не только выполнять заключенный договор, но даже входить в какое-нибудь обсуждение по этому поводу».

Редакции сопроводили это коротенькое письмо примечанием, в котором осудили людей, сорвавших вечер Маяковского.

Через два дня он писал Л.Ю. Брик в Москву:

«…В Севастополе не только отказались платить по договору (организаторы, утверждающие, что они мопровцы), а еще сорвали лекцию, отменили и крыли меня публично разными, по-моему, нехорошими словами. Пришлось целый день тратить на эту бузу, собирать заседание секретариата райкома, и секретарь райкома отчитывал в лоск зарвавшегося держиморду. Моральное

удовлетворение полное, а карман пустой. Да еще вместо стихов приходится писать одни письма в редакцию…»

«РАЗГОВОР-ПУТЕШЕСТВИЕ»

Покидая Севастополь, Маяковский облегченно вздохнул: — Все же доказал, что это не мое личное дело, а факт общественного значения.

Настроение заметно улучшилось, и мы едем в столицу Крыма. К нам присоединились два человека, мечтавших послушать поэта: ленинградка (Маяковский называл ее почему-то «архитекторшей») и мой младший брат, ярый поклонник поэта, сбежавший с работы ради такой счастливой возможности. Брата Владимир Владимирович уже знал — они встречались в Севастополе недавно во время двухчасовой стоянки парохода «Ястреб» по пути из Одессы в Ялту. Они обошли тогда книжные магазины, где гость приобрел несколько книг, в том числе и «Цемент» Гладкова. Попутно брат знакомил Маяковского с историческими памятниками. Потом Владимир Владимирович вспоминал добрым словом своего экскурсовода.

Итак, в Симферополе с вокзала на линейке мы направлялись к центру. Пустынны улицы в эти дневные, жаркие часы. Недалеко от Пушкинской у афиши стояла девушка. Маяковский остановил линейку и мгновенно очутился на тротуаре. Указывая на афишу, он стал уговаривать девушку непременно прийти сегодня на вечер:

— Будет очень интересно. Обязательно воспользуйтесь случаем. Я тоже приду. Пока! До свиданья, до вечера!

И, откланявшись, вернулся к линейке.

Озорство? Да, оно было иногда ему свойственно, особенно в минуты повышенного настроения. Возможно, он думал, что здесь, как и в Севастополе, посреди лета зал не заполнится, и каждый «завербованный» слушатель будет очень кстати.

— Как дела? — обратился Маяковский к кассирше Дома просвещения, где должен состояться вечер. — Разрешите помочь?

Та сперва не поверила, что перед ней сам Маяковский, а убедившись, уступила свое место у крохотного окошечка. Маяковский стал продавать остатки билетов «сам на себя». Он вступал в разговоры с подходившими к кассе, давал пояснения, шутил.

— Кому дорого рубль — пятьдесят процентов плачу сам.

Зал полон. Контрамарочники и «зайцы» заняли все проходы.

Настроение у Владимира Владимировича праздничное.

— Так сказать, подарок ко дню рождения, хотя и по старому стилю. Сегодня мне 33.[2] Надо будет отметить первую удачу в

Крыму.

Он вышел на сцену. Аудитория, в которой преобладала молодежь, встретила его восторженно.

Маяковский положил на столик книжку (но так и не воспользовался ею), поставил бутылку нарзана, которую принес с собой. (Пил он из собственного плоского стакана). Когда ему стало жарко, он снял пиджак и повесил на спинку стула.

Во время доклада он шагал вдоль рампы, а иногда отступал вглубь и возвращался затем к самому краю, задерживался, чтобы быть поближе к аудитории.

Зазвучал густой бас:

— Товарищи, я хочу рассказать о своем прошлогоднем путешествии в Америку.

Удивительно, что поэт почти дословно повторял книгу «Мое открытие Америки», а ведь он не учил наизусть, запоминал все в процессе работы над прозой (так же, как над стихами). Естественно, отступления от книги бывали, но это — специальные, необходимые отступления. Точнее, сокращения и введение разговорной речи, обогащающей такого рода выступления.

Рассказ чередовался с чтением стихов из «американского цикла».

— До Кенигсберга я добирался на самолете. А затем поездом через Берлин в Париж. Здесь пришлось задержаться для оформления документов. Из Парижа в Сен-Назер и через Испанию в Мексику на пароходе «Эспань».

Ярко, образно передавал свои впечатления от восемнадцатидневного морского путешествия:

— Будни пароходной жизни давали ощущение общества, нас окружавшего. Классы — самые настоящие. Четко разграниченные. В первом: купцы, фабриканты шляп и воротничков, крупные представители различных областей искусства и даже монашенки. Этим чудовищным монашенкам у меня посвящено стихотворение. Если сам не увидишь — не поверишь, что такие существуют в природе. Стихотворение называется «Шесть монахинь». Здесь встречается не всем понятное слово «квота». «Квота» — это норма, по которой американцы впускают к себе эмигрантов…

Вообще люди в первом классе попадаются странные. Например, турки по национальности, говорят только по-английски, живут всегда в Мексике, представители французских фирм — с парагвайскими и аргентинскими паспортами. Разбери, кто может.

Во втором классе — мелкие коммивояжеры, начинающие искусство и стукающая по ремингтонам интеллигенция.

Третий класс — начинка трюмов. Боксеры, сыщики, негры, ищущие работы.

Первый класс играет в покер и маджонг, второй — в шашки и на гитаре, третий — заворачивает руку за спину, закрывает глаза, сзади хлопают изо всех сил по ладони: надо угадать, кто хлопнул из всей гурьбы, и указанный заменяет избиваемого. Советую вузовцам попробовать эту испанскую игру.

Зал ответил громким смехом.

— Риск небольшой. Уверен, что будете меня благодарить, — добавил Маяковский.

И продолжал:

— Телеграфист орет о встречных пароходах. Библиотекарь, ввиду малого спроса на книги, занят другими делами: разносит бумажку с десятью цифрами. Внеси десять франков и запиши фамилию. Если цифра пройденных миль окончится на твою — получай сто франков из этого морского тотализатора…

Утром, жареные, печеные и вареные, мы подошли к белой — и стройками и скалами — Гаване. О Гаване у меня есть стихотворение «Блэк энд уайт»[3]. (Читая «Блэк энд уайт», Владимир Владимирович переводил все английские слова, как он это делал и при чтении других стихотворений «заграничного цикла»).

В центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок[4] — первые ощутимые признаки владычества Соединенных Штатов над Северной, Южной и Центральной Америкой.

Кубой также фактически завладели американские империалисты.

Говоря о рабском положении негров, он резюмировал:

— Американский «демократизм» привел людей всех цветных рас к рабству. На каждом шагу эксплуататоры показывают рабам свой увесистый кулак!

Может статься, что Соединенные Штаты станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела. — И добавил: — Поэтому не выпускайте из рук винтовки! Он прервал рассказ о путешествии по океану:

— Я вам прочту сейчас стихотворение, которое называется… — И подчеркнуто громко объявил: — «Атлантический океан».

Начал он медленно и немного растянуто. Затем, говоря «за океан»: «Мне бы, братцы, к Сахаре подобраться… — покряхтывая, покачиваясь, создавал впечатление неуклюжей громады. К концу же снова замедлял и чеканил все громче и громче: По шири, по делу, по крови, по духу — моей революции — и, резко оборвав

последнюю строку, поднял вверх руку: старший брат».

Читая песенку из стихотворения «Домой», которая приведена и в «Моем открытии Америки»: «Маркита, Маркита, Маркита моя, зачем ты, Маркита, не любишь меня…» — он намечал мелодию.

Стихотворение, которое на афише значилось «Как собаке — здрасите», Маяковский объявил: «Испания» (по книге). Он не хотел, вероятно, чтобы эта веселая последняя строчка стала известна аудитории до того, как он ее произнесет. Удивительно в нем было развито чутье «доходчивости», неожиданности воздействия на слушателей. Он любил короткие, броские, интригующие названия. Афиши позволяли ему менять названия, разнообразить их, что не всегда можно было сделать при переиздании книг.

— Я должен сказать вам несколько слов по поводу этой самой Испании. Ко мне часто обращаются, особенно девушки: «Ах, какой вы счастливый, вы были в Испании, какая очаровательная страна! Там тореадоры, быки, испанки и вообще много страсти». Я тоже был готов к тому, чтобы увидеть что-нибудь в этом роде. Но ничего подобного. Пароход подплыл к испанскому берегу, и первое, что мне бросилось в глаза, это довольно прозаическая вывеска грязного склада «Леопольдо Пардо». Правда, веера у испанок есть — жарко, вполне понятно. А так ровно ничего примечательного, если не считать, что по-русски — телефон, а по-испански — телефонос. Вообще, особенно останавливаться на Испании не стоит. Они нас не признают и нам на них плевать![5]

«Ты — я думал — райский сад. Ложь подпивших бардов. Нет — живьем я вижу склад „ЛЕОПОЛЬДО ПАР ДО“ … Стал простецкий „телефон“ гордым „телефонос“… А на что мне это все? Как собаке — здрасите!»

«Здрасите» звучало, как написано здесь, так печаталось в прижизненных изданиях и в последнем собрании сочинений. В некоторых же изданиях было исправлено на «здрасьте».

Своеобразно читал Маяковский стихотворение «Американские русские». Вначале он разъяснял:

— Все языки в Америке перемешались. Например, английский понимают все, кроме англичан. Русские называют трамвай — стриткарой, угол — корнером, квартал — блоком, квартиранта — бордером, билет — тикетом…

Иногда получаются такие переводы: «Беру билет с менянием пересядки…» Еврей прибавляет к английскому и русскому еще некоторые слова.

Слова Каплана из стихотворения «Американские русские» Маяковский произносил с легким акцентом, очень мягко утрируя интонации и подчеркивая их жестами. Особенно смешно

выходило слово «тудой»: он на несколько секунд растягивал конечное «ой», произносил его даже с легким завыванием. Маяковский читал «сюдою». А конец — открыто и широко, в своей обычной манере:

«Горланит по этой Америке самой стоязыкий народ-оголтец. — И затем, сразу переходя на разговорную речь, в стиле самого Каплана: Уж если Одесса — Одесса-мама, то Нью-Йорк — Одесса-отец» — резко обрывая, как бы бросая последние слова в публику. (Любопытно, что это стихотворение всюду вызывало смех и только в самой Одессе не имело успеха).

Во второй части вечера стихи чередовались с ответами на записки. Они, по мере накопления, занимали все больше времени и являлись как бы продолжением самого доклада, оживляя и развивая его. Маяковский умел строить вечер как нечто целое. Сразу устанавливался контакт с публикой. Доклад он проводил как беседу, вслед за стихами снова начинал разговор и ответами на записки закреплял связь со слушателями.

Одаренный несравненным талантом красноречия, Владимир Владимирович обладал и редким даром — умением разговаривать с массой. Когда он оглашал записки и отвечал на них — разгорались страсти.

«Почему вы ездите в первом классе?» (Имелась в виду поездка Маяковского в Америку.)

— Чтобы такие, как вы, завидовали, — осадил он задиру.

«Товарищ Маяковский, поучитесь у Пушкина».

— Услугу за услугу. Вы будете учиться у меня, — медленно, но вместе с тем форсируя звук и ударив при этом всей ладонью себя в грудь, — а я у него! — мягким и учтивым тоном, отведя руку в сторону, поучал поэт забияку!

«Вы на пе, а я — на эм»… «Ишь какой самоуверенный».

— Надо думать, когда пишешь. Ведь речь идет о книжной полке. Там, помимо меня, есть и другие поэты.

«Почему рабочие вас не понимают?»

— Напрасно вы такого мнения о рабочих.

«Вот я лично вас не понимаю».

— Это ваша вина и беда.

«Почему вы так хвалите себя?»

— Я говорю о себе, как о производстве. Я рекламирую и продвигаю свою продукцию, как это должен делать хороший директор завода.

«Красный Крым» так отозвался о вечере:

«…Первая часть — это легкая, без претензий на глубокомыслие, без экскурсий в географию и этнографию, беседа… Беседа пересыпана смелыми сравнениями, столь

напоминающими образы из стихов автора, остроумными отступлениями и шутливыми „разговорчиками“ с публикой. Занятно, легко, но и поверхностно — таково впечатление от первой части вечера. Во второй и третьей частях Маяковский читал свои стихи. …Авторское чтение таково, что многие в публике, не считающие себя горячими поклонниками его поэзии, были захвачены стихами „Юбилейное“, „Сергею Есенину“ и др.».

Оценка была относительно положительная, однако рецензент ни слова не сказал о «заграничных» стихах, составлявших основу вечера.

Евпатория, клуб «Первое мая». Открытая площадка заполнена целиком. Обладателям входных билетов некуда втиснуться. Курортники настроены шумно и весело. Маяковский в ударе.

— Евпатория — это вещь!

На следующий день он выступал в санатории «Таласса», для костнотуберкулезных.

Эстрадой служила терраса главного корпуса. Перед ней расположились больные. Лежачих вынесли на кроватях. Других вывели под руки и уложили на шезлонгах. Собрался весь медицинский персонал. Всего — человек 300.

Прохожие на набережной через решетчатый забор могли наблюдать это необыкновенное зрелище и слушать Маяковского издали.

Владимир Владимирович, выйдя на импровизированную эстраду, несколько растерялся. Долгая пауза. Потом — нарочито громко:

— Товарищи! Долго я вас томить не буду. Расскажу в двух словах о моем путешествии в Америку, а потом прочту несколько самых лучших стихов.

Когда он произнес «самых лучших», слушатели засмеялись, раздались аплодисменты и одобрительные возгласы. Напряжения как не бывало.

К «самым лучшим» он относил «Сергею Есенину». После слов:

«Надо жизнь сначала переделать, переделав — можно воспевать», — он остановился. Этого почти никто не заметил. Но он понял, что следующие четыре строки: «Это время — трудновато для пера, но скажите, вы, калеки и калекши, где, когда, какой великий выбирал путь чтобы протоптанней и легше» могли бы напомнить больным об их несчастии, обидеть. И Маяковский опустил всю строфу.

А я-то волновался во время его чтения: что будет, когда он дойдет до этих строчек! Но со стороны, как известно, виднее, а каково выступающему, в эмоциональном порыве.

Встреча длилась часа полтора. Прощаясь, благодарили поэта

и проводили, как близкого человека.

Перед отъездом из города администрация гостиницы обратилась «с покорнейшей просьбой» написать что-нибудь в книгу отзывов. Маяковский отказывался, но те не отступали:

— Нам все пишут. Посмотрите, какие здесь знаменитости. Иностранцев много. Послы. Даже американцы. Кто только ни приезжал к нам, все писали. Никто не возражал.

Раскрыли фолиант. Маяковский удивился:

— Смотрите, все довольны! Нет, просто странно! Все довольны. Как пишут! Что пишут! Сплошной восторг!

И он тоже написал несколько слов, но… критических: предложил вывести москитов, которые не давали ему всю ночь спать, и указал на другие недочеты. В книге появился справедливый отзыв, деловое предложение.

Как-то вечером в Ялте Маяковский понадобился мне по срочному делу, но, против обыкновения, я нигде не мог его обнаружить, дважды пройдя набережную и расспрашивая встречных знакомых о нем.

С поникшей головой возвращался я к себе в гостиницу, озираясь по сторонам. Внезапно на полутемной террасе вдали заметил чей-то силуэт. Приблизился. Это был Маяковский — мрачный, сосредоточенный.

Нарушив свойственную ему учтивость, он оборвал меня:

— Не мешайте, я занят! — И, слегка извинившись, сразу ушел.

Лишь наутро он посвятил меня в тайну вчерашнего вечера: он шагал по длинному ялтинскому молу с десяти вечера, вернувшись в гостиницу в третьем часу ночи.

Именно в эту ночь, 15 июля 1926 года, он закончил свое выдающееся стихотворение «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», над которым работал свыше двух недель. Ибо задумал его в день встречи с пароходом «Теодор Нетте», когда направлялся из Одессы в Ялту 28 июня.

История парохода сама по себе небезынтересна: построенный в 1913 году, пароход «Тверь» был переименован в 1926 году в «Теодор Нетте». Отслужив свой век, пароход должен был отправиться в самый дальний наш порт. Этот рискованный рейс поручили капитану М.И. Кислову. Нынче пароход уже потерял свой первоначальный вид и служит в Петропавловске-Камчатском лишь причалом.

Есть во Владивостоке грузовой пароход «Владимир Маяковский», и когда он проходит у берегов Камчатки, то, находясь на траверзе причала, традиционными гудками приветствует своего старшего брата «Теодора Нетте». Это весьма

чувствительно и символично — пароходы разговаривают между собой, как в стихах поэта.

Я несколько раз пытался уговорить Владимира Владимировича зайти в курзал — рядом с гостиницей. Он не соглашался. И вдруг встречаю его на концерте.

— Просто от скуки зашел. Не особенно люблю концерты.

В тот день среди других выступал С.Я. Лемешев, тогда еще молодой певец. И хотя Маяковский «не особенно любил концерты», послушав Лемешева, он сравнил тембр его голоса с собиновским, предсказал певцу большую будущность — и не ошибся.

После вечера Маяковского окружили артисты «Синей блузы»[6]. Маяковский пригласил их на поплавок. «Синеблузники» жаловались: нет репертуара — мало пишут, не интересуются «малыми формами».

— Почему вы «малая форма»? — сказал Маяковский. — По-моему, вы большая форма. Ведь эстрада — самое доходчивое из искусств, не считая кино. А Большой театр, вы думаете, от одного названия — уже большая форма? Я считаю это неправильным. Вы — самая большая форма!

Разговоров хватило надолго, не заметили, как минула полночь.

Когда подали счет, Маяковский — тоном, не допускающим возражений:

— Довольно, товарищи, довольно, я плачу. А теперь я провожу вас домой, и на этом «дикий кутеж» будем считать законченным!

«Синеблузники» жили далеко, дороги хватило на добрый час — в гору, почти до Ливадии. Когда вернулись, уже брезжил рассвет.

Вскоре Маяковский написал для эстрады гротеск «Радио-Октябрь». Возможно, эта встреча ускорила осуществление его замысла. Премьеру приурочили к 9-й годовщине Октября.

Умер Дзержинский.

Эта весть потрясла Маяковского. Он не находил себе места, отказался выступать в ближайшие дни…

Наконец, отложенный вечер состоялся, но прошел он серьезное, строже, чем всегда. И без того подавленное состояние в день траурного известия усугубилось тяжелой сценой: знакомый Маяковского (директор гостиницы «Россия»), бывший чекист, больной острой формой туберкулеза, узнав о смерти Феликса Эдмундовича, упал в обморок на мраморной лестнице гостиницы, разбив при этом в кровь голову. Все это произошло на глазах Владимира Владимировича.

Через год в поэме «Хорошо!» появились строки:

«Юноше, обдумывающему житье, решающему — сделать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь — „Делай ее с товарища Дзержинского“».

А вскоре Маяковский написал стихотворение «Солдаты Дзержинского», посвятив его Валерию Михайловичу Горожанину.

Владимиру Владимировичу очень понравился Гурзуф — роскошный парк, уютный клуб посреди парка и, конечно, домик Пушкина!

— Сюда входил сам Пушкин, — сказал он у парадной двери. — А куда выходил — не знаю. Возможно, убегал по ночам через черный ход.

Он внимательно и с явным удовольствием разглядывал домик, фантазируя:

— А вдруг вышел бы к нам Александр Сергеевич и попросил разрешения прийти сегодня на мой вечер? Я просто не знал бы, куда деться…

Из всех близлежащих к Ялте курортов Маяковский был особенно доволен санаторием ЦК КП(б) Украины «Харакс» и гурзуфским военным клубом. Здесь собрались квалифицированные слушатели. Приятно удивила Маяковского и расценка мест в военном клубе, посторонние платили в среднем полтора рубля за билет (для них было отведено ограниченное число мест), комсостав — тридцать копеек, а красноармейцы — бесплатно.

Покидая клуб, он сказал:

— Приятно выступать перед нашими бойцами и командирами.

Вслед за нами до моря шли два красноармейца. Они предложили проводить Маяковского до Ялты. Он возразил:

— Вам нужно отдыхать, набираться сил — для этого вы сюда и направлены.

Возвращаясь на моторке в Ялту, он вспомнил встречу в военном клубе и двух красноармейцев:

— Всегда буду здесь выступать. Люблю такие вечера!

«Поп или мастер!»

Мы встретились у подъезда воронежской гостиницы, на главной улице города. В руках у Владимира Владимировича два больших пакета.

— Что это у вас?

— В главном — четыре бутылки Абрау.

— Зачем так много?

— А вам какое дело?

— Да на одного многовато.

— Вижу, что вы в этом ничего не понимаете. А вдруг придут, чем будешь угощать? А о дороге до Ростова забыли?

Он оказался прав. В гостинице его уже дожидались. Маяковский любил угощать: фрукты — всегда горой, коробки конфет (которых он сам почти не ел)…

На вечере в Воронеже — много записок. Среди них и язвительно-хулиганские. Часть из них Маяковский оглашал и парировал.

Еще месяц назад, в Екатеринославе я предложил ему собирать записки: тогда же после вечера он аккуратно завернул их в газету и положил в чемодан. Коллекция записок быстро росла.

Здесь, в Воронеже, были и такие:

«Любили ли вы когда-нибудь девушку и какова была ваша любовь? Простите».

«Поэт Владимир Маяковский. Открой нам правду, почему ты здесь прочел нам стихи в рифму, а в газете пишешь какую-то мифу, там всегда неразбериха, и ни одного нет рифмой акростиха, тогда как для любителя читать можно такой работой душу измотать».

«Как вам кажется Воронеж после Нью-Йорка и других городов?»

«Хоть вы уже и хвастаетесь своей близостью к Пушкину, но до его вы и в несколько лет не дойдете».

«Почему вы не пустили в продажу свои сочинения и фотограф. карточки? Они здесь хорошо бы разошлись, и вам бы плюс: дальнейшему кругосветному путешествию».

Ответы на эти записки не запомнились. Приведу другие. Например:

«Почему вы называете себя пролетарским поэтом? Разве вы пролетарского происхождения?»

Маяковский:

— Нигде не сказано, что пролетарский поэт должен быть

пролетарского происхождения. Я знаю некоторых писателей далеко не пролетарского происхождения. Но они числятся пролетарскими и состоят даже членами РАППа. Я же лично не собираюсь скрывать свое происхождение, тем более что оно никак не влияет на мое творчество. Из моего происхождения я себе дворца не выстроил. В поэме «Про это» у меня есть такие строчки: «Не простой… (В поэме „Про это“ — „столбовой“, но читал Маяковский: „не простой“)… Не простой отец мой — дворянин, кожа на моих руках тонка. Может, я стихами выхлебаю дни, и не увидав токарного станка».

«Тов. Маяковский, чем объяснить, что вы в центре всего ставите свое „я“?»

— В центре как-то заметнее, — улыбнулся Маяковский. Потом серьезно: — А главное, вам надо раз навсегда запомнить, что «я» — это гражданин Советского Союза. «Я» — это бывает условно. И наконец, почему же в тех случаях, когда я говорю о себе или от своего имени, говорить, скажем, от вашего?

«Группа студентов убедительно просит вас продекламировать „Сволочи“».

— Я не декламирую, а читаю. Это старое стихотворение. Вместо него я прочту вам более новое. (Под декламацией Маяковский разумел ложный пафос, сентиментальность, напыщенность. Многие еще до сих пор не могут отрешиться от этого слова, хотя в наши дни оно отдает анахронизмом.)

«Почему другие поэты не занимаются писанием рекламных лозунгов?»

— Я им тоже говорил об этом, — указывая на зал, как бы адресуясь непосредственно к автору записки, резко бросает Маяковский. Раздался бурный смех и рукоплескания.

«Уверены ли вы в том, что ваше творчество доступно массе?»

— Не всем доступно. Еще далеко не все привыкли к стихам. Но если стихи будут внимательно читать и, как полагается, по нескольку раз, то через пятнадцать лет они будут доступны почти всем, а это будет большим достижением. Стихи я проверяю так: они не должны быть похожими на остальных поэтов, и белогвардейцы должны их уничтожать за вредность для них. Это основной критерий.

«Просим высказать ваш взгляд на С. Есенина и прочитать его стихотворение „На смерть Есенина“».

Маяковский не мог не использовать ошибки автора записки, приписавшего Есенину стихи на свою собственную смерть: он пренебрег множественным числом слова «просим» и, вытянув руку, как бы указывая на конкретного слушателя, вразумлял:

— Этот товарищ перенесся в потусторонний мир, и его надо

остерегаться. — После чуть заметной паузы добавил: — Особенно соседям!

В Москве у Маяковского была маленькая комната. Поэтому в гостиницах он любил большие номера, где можно было бы пошагать, а значит, лучше поработать. В Ростове ему предоставили самый большой номер. Он обрадовался:

— Повезло!

Еще одна удача. Представители театра просят Маяковского выступить вторично, ведь на сегодняшний вечер все билеты давно проданы. Надо прямо сказать — это наиредчайшее явление в нашей разъездной практике: сами проявили инициативу. Маяковский, конечно, с радостью согласился.

В номере появляются местные литераторы, рабкоры, комсомольцы.

Не прошло и часу, как Маяковский притащил в гостиницу десяток бутылок нарзана. К чему такой запас? Дело в том, что в Ростове случилась беда. Примерно месяц тому назад водопроводные трубы соединились с канализацией (об этом писали ростовские газеты, было сообщение и в «Правде»). И хотя к нашему приезду воду уже очистили и ростовчане прекрасно пользовались пресной водой, Маяковский, будучи весьма мнительным и брезгливым, отказался от услуг ростовского водопровода. Он решил пользоваться нарзаном и исключил из обихода все «водяные» блюда: пил нарзан, умывался нарзаном, кипятил чай из нарзана и острил при этом:

— А как узнаешь, когда чай из нарзана кипит? Ведь он постоянно булькает? Момент кипения невозможно определить.

Когда Маяковский прошел служебным подъездом на сцену, следом, прорвав пожарный заслон, устремились студенты. В зал им не суждено было попасть — милиция начеку, да и сам-то зал предельно забит.

Оторвавшись от общей массы, человек двадцать очутились на сцене, у самого оркестра, очевидно заранее обдумав план действий. Но мест там не оказалось: сидели «опытнейшие зрители» — артисты этого театра.

Начальник пожарной охраны, в каске, коренастый и мрачный, со своим помощником пытался удалить «зайцев» со сцены. В зал доносился шум. Ребята не поддавались.

В эту раскаленную атмосферу ворвался массивный бас Владимира Владимировича, решившего во что бы то ни стало защитить молодежь:

— Они мне нужны, без них я не могу выступать!

— Во-первых, гражданин, бросьте курить, — резко оборвал его пожарник, — а потом я с вами буду разговаривать!

— Я играю, почти артист, — объяснял ему Маяковский», — и по ходу действия должен курить. А пока репетирую. Понятно?

Так, приводя довод за доводом, он настойчиво наступал на пожарника, и тому пришлось отступить. Ребята притихли, будто их и вовсе нет здесь. В этот вечер их можно было причислить, пожалуй, к числу самых взволнованных слушателей.

На афише крупно — «Поп или мастер?»

Речь шла о литературе, главным образом о поэзии. Он говорил о своих коллегах по перу. Поэтов в ту пору было сравнительно немного и потому в орбиту включалась часть уже известных имен. Наряду с именитыми приводились фамилии молодых.

Маяковский радовался каждой удаче любого поэта и тем паче начинающего. Вполне естественно, что в таких случаях он не упускал возможности поделиться своими впечатлениями со слушателями. В то же время он был резок и непримирим, критикуя «недобросовестные» стихи.

— Меня приводит в бешенство «литературное поповство», «вдохновение», - говорил Маяковский, — длинные волосы, гнусавая манера читать стихи нараспев. От поэтов не продохнуть. Среднее мясо их стихов ужасно. Стихотворное наводнение выходит далеко за пределы литературных интересов. Эти стихи уже не стихи, а «стихийные бедствия». Они вредны для организации молодого сознания. В результате в магазинах ни одной книжки стихов не берут, обманутый читатель обходит ГИЗ (Государственное издательство) стороной. Впрочем, от моих книг в убытке не останетесь.

У наших молодых поэтов попадаются недобросовестные строчки такого рода:

Все, что вымеришь взглядом за день, Что тебе напоет станок — Все горой драгоценной клади Ты домой волоки, сынок.

Дескать: иди, сынок, на завод, хорошенько присмотрись, как и что там лежит, выбери несколько ценных вещичек и постепенно выноси домой, то есть, проще говоря, кради — и все. Вот что получается в результате недобросовестной работы. Поэт хотел сказать одно, а получилось совсем другое.

Или такой «шедевр»:

Я пролетарская пушка. Стреляю туда и сюда.

Нет, ты не стреляй туда и сюда, а стреляй в одно определенное место: стреляй туда, куда надо!

В одной из южных газет я вычитал «замечательное» стихотворение, четыре строчки из которого я вам прочту, и вы убедитесь в их «гениальности»:

В стране Советской полуденной, Среди степей и ковылей,

Семен Михайлович Буденный Скакал на сером кабыле!

И когда хохот ослаб, Маяковский продолжал: — Я очень уважаю Семена Михайловича и даже его кобылу уважаю. Пусть она его выносит целым и невредимым из боев. Я могу даже простить автору, что он переделал кобылу в мужской род. Но если кобыле сделать ударение не по тому месту, она может вас занести черт знает куда!

Неверно, что поэзия — легкое дело, которому можно обучиться, да еще по книжке Шенгели (есть такой профессор), в несколько уроков. Задача не в пять уроков научить писать стихи, но отучить в один урок. Литература, которая должна вести рабочий класс на борьбу, — труднейшее дело в мире. Не всякого из нахрапистых ребят, печатающихся и имеющих свои книги, надо считать поэтом. Рифма — это хорошая плеть со свинцом на конце, которая вас бьет и заставляет вздрагивать. Ошибки свойственны и великим поэтам. Ведь случилось же, что поэт написал о львице с гривой, хотя таковой и не существует в природе. (Лермонтова он не упомянул.)

Затем Маяковский приводил другое стихотворение и спрашивал:

— Если у поэта в тексте марша фигурируют кавычки, то как же прикажете маршировать: по два нормальных шага и один укороченный? или вприпрыжечку?

Зубные врачи и даже служители культа так или иначе состоят в организациях, а поэты еще не объединены и почти не несут ответственности за свою работу. Их «объединяют» лишь длинные волосы.

Сняв с поэзии поповскую оболочку, мы видим, что делать стихи — такая же черная работа, как и всякая иная. Вдохновение присуще каждому виду труда. На поиски одной рифмочки приходится тратить иногда больше суток, и нормально Маяковский не может сделать в день больше шести-восьми доброкачественных строк. Отцеживай рифмы!

Я хожу по улицам и собираю всякую словесную дрянь — авось через семь лет пригодится! Эту работу по заготовке сырья надо проделывать постоянно, по принципу восьмичасового рабочего дня, а не в минуты отдыха. Дело не во вдохновении, а в организации вдохновения.

Стихи в газету особенно трудно писать — срочные, нужно быть гибким, а главное — политически грамотным.

На вопрос: можно ли забыть рифму в трамвае? — я отвечу: да, можно — я однажды забыл у Страстной площади (ныне — Пушкинская площадь в Москве), вернулся и вспомнил.

Часто Маяковский предпосылал стихам пояснение:

рассказывал предысторию стихотворения, расшифровывал отдельные имена, малоизвестные, переводил иностранные слова.

Здесь же перед чтением «Сергею Есенину» (которое не раз он объявлял: «Разговор с Сергеем Есениным») Маяковский сказал:

— Есенин — безусловно талантливый поэт, но он часто писал не то, что нам надо, и этим приносил не пользу, а вред… Вскоре после смерти Есенина в помещении Художественного театра состоялся вечер его памяти. На фоне тощей, надломившейся березки выступали с «прочувствованными» речами ораторы. Затем Собинов тоненьким голоском запел: «Ни слова, о друг мой, ни вздоха, мы будем с тобой молчаливы»… хотя молчалив был только один Есенин, а Собинов продолжал петь. Вся эта обстановка произвела на меня удручающее впечатление. Я не мог сразу откликнуться на смерть Есенина. Боль утраты остро чувствовал. Я очень ценил Есенина, повторяю, как талантливого человека, и не терял надежды, что творчество его пойдет по другому руслу.

Очень часто поэты пишут стихи, приспосабливая их к тому или иному празднику или похоронам. Не приняли в редакции — дожидаются следующего случая или, переделав названия и имена, сдают под ту или иную «дату».

После смерти Есенина появилась целая армия самоубийц. Прослушав стихотворение, я надеюсь, вы не пойдете по их стопам. Чтобы ответить сразу и на поступающие вопросы, скажу еще вот что: Есенин брал зачастую в своих стихах «раздражающим», «волнующим», формальным «дррр». Есть у него примерно такие строки:

Да, я знаю, с тобою дрругая. Но и с этой, с любимой, с дрругой, Ррасскажу я тебе, доррогая, Как недавно я звал доррогой…

Это «дрр» действует в обратную сторону. А иногда оно и раздражающе действует, и этими стихами пользуются, чтобы понравиться девушке. Я считаю, что для этого вообще не нужны стихи. Но если человек решил обязательно воспользоваться стихами, то я бы лично рекомендовал ему прибегнуть к народным частушкам, которые, с моей точки зрения, гораздо сильнее:

Дорогой и дорогая, Дорогие оба, Дорогая дорогого Довела до гроба.

После выступления, когда мы остались вдвоем в номере, он поделился со мной:

— Лишнее доказательство тому, как увлекаются этим внешним «дрр». Я неправильно цитирую Есенина, читаю строки, лишенные логического смысла, и ни один человек не обратил внимания и ни слова не сказал мне об этом.

На вечере же, о котором идет речь, Маяковский обратился к залу:

— Товарищи! Сейчас я вам прочту мое новое стихотворение «Товарищу Нетте — пароходу и человеку». Нетте — наш дипломатический курьер в Латвии. Погиб при исполнении служебных обязанностей, отстреливаясь от напавших на него контрразведчиков в поезде на латвийской территории. С ним был и другой дипкурьер —- Махмасталь[7], отделавшийся ранением. Я хорошо знал товарища Нетте. Это был коренастый латыш с приятной улыбкой, в больших роговых очках. Я встречался с ним много раз. Приходилось ездить в одном купе за границу. Здесь, в стихотворении, встречается фамилия Якобсон Ромка[8] — ну, это наш общий знакомый. В прошлый мой приезд[9] в Ростове на улице я услышал — газетчики кричат: «Покушение на наших дипкурьеров Нетте и Махмасталя». Остолбенел. Это была моя первая встреча с Нетте, уже после его смерти. Вскоре первая боль улеглась. Я попадаю в Одессу. Пароходом направляюсь в Ялту. Когда наш пароход покидал Одесскую гавань, навстречу нам шел другой пароход, и на нем золотыми буквами, освещенными солнцем, два слова — «Теодор Нетте». Это была моя вторая встреча с Нетте, но уже не с человеком, а с пароходом.

Я недаром вздрогнул. Не загробный вздор. В порт, горящий, как расплавленное лето, разворачивался и входил товарищ «Теодор Нетте».

В строке: «В коммунизм из книжки верят средне» — он, при чтении, менял «верят» на доверительное «веришь».

Второй ростовский вечер назывался: «Я и мои вещи». Ниже на афише стояло: «Отчетный разговор за 15 лет». Маяковский читал отрывки из поэм: «Облако в штанах», «Человек», «Ленин», «Война и мир», «Флейта-позвоночник», из пьесы «Мистерия-буфф» — и новые стихи. С такой программой он выступил один раз и никогда больше ее не повторял.

В Таганроге Маяковский впервые. В нетопленном зале клуба кожевников малолюдно.

— Зал наполовину пуст, будем считать, что он наполовину полон, — говорит Маяковский, — буду выступать, пока мы все не замерзнем. Возможно, произойдет обратное: я вас сумею разогреть своими стихами. А сам-то я наверное согреюсь.

И он действительно разогрел аудиторию.

— Товарищи, — прощался он со слушателями. — Я даю всем таганрожцам возможность выправить свою неловкость. Как только смогу, приеду к вам вторично. Предупредите знакомых. И чтоб в следующий раз было здесь тепло и полно.

В Новочеркасске с вокзала плетемся в гору на одноконке.

Извозчик с окладистой бородой. Маяковский спрашивает его о временах белогвардейщины:

— Много у вас тут сволочей перебывало? Извозчик басит:

— Хватало.

— А какие у вас еще были знаменитости, кроме белых генералов?

Извозчик тем же тоном:

— А вот сейчас Ермак будет (и показал на памятник).

Я сказал Владимиру Владимировичу, что Новочеркасск — студенческий город, и привел некоторые цифры. Он пришел в восторг:

— Здорово! Такой маленький город — и столько студентов!

Эпиграфом к стихотворению «Голубой лампас» стали слова:

«В Новочеркасске на 60000 жителей 7000 вузовцев».

А за собором средь сора и дерьма, эдакой медной гирей, стоит казак, казак Ермак, Ермак — покоритель Сибири.

…

Электроглаз под стеклянной каской мигнул и потух… Конфузится! По-новому улицы Новочеркасска черны сегодня — от вузовцев.

Студенты заполнили аудиторию Донского политехнического института. После доклада поэт читал стихи. Записок столько, что ответить на все трудно. На местах — споры, с мест — вопросы. Маяковский приглашает желающих высказаться, и непременно с эстрады:

— Давайте, давайте, не стесняйтесь! Я работаю один на всех вас — помогайте!

Нашлись смельчаки. Один доказывал, что «так писать нельзя» — стихи Маяковского непонятны. Его прервал восторженный голос:

— Люблю Маяковского!

Это выкрикнул шестидесятитрехлетний профессор-химик Александр Алексеевич Киров. Он стоял у самой эстрады. Студенты настойчиво предлагали ему место, но он столь же настойчиво от него отказывался. Весь вечер он громче всех восторгался:

— Браво, Маяковский!

Четыре с половиной часа длилась эта встреча, пожалуй, рекорд, даже для Маяковского.

После вечера профессор пригласил поэта в свой рабочий кабинет. Рядом — лаборатория.

— Не могу отпустить вас, Владимир Владимирович, пока не угощу вином своего производства!

— Ну, что для меня, кавказца, выпить вина!

— А для меня тем более — собственное.

Профессор принес из подвала вино. Стаканов нет, пьем из мензурок и пробирок.

Поклонники Маяковского «унесли на память» его собственный плоский стакан, и он теперь пил тоже из мензурки, правда, стерильной.

Александр Алексеевич читал свои стихи. Пели любимые Маяковским цыганские песни, «Стеньку Разина» и даже оперные арии. Пела и жена профессора.

В гостиницу попали к шести утра. В восемь мы на вокзале, а в десять — снова в Ростове.

Еще в первый день пребывания в Ростове к Маяковскому пришли товарищи из Ленинских железнодорожных мастерских, и он пообещал у них выступить. С такой же просьбой обратились к нему комсомольцы, рабкоры, писатели. Владимир Владимирович должен был в один день (до девяти вечера) выступить три раза. И он, несмотря на вчерашнюю бессонную ночь, сдержал свое слово.

Огромная столовая Ленинских железнодорожных мастерских выглядела непривычно: даже проходы и подоконники заполнены.

Прозвучали отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин».

— Понятно вам, товарищи?

— Понятно! — раздался коллективный ответ.

— Всем понятно?

— Всем!

— Еще читать или хватит?

— Читайте еще!

— Товарищи, вопросы есть?

— Вопросов нет, читайте еще! И Маяковский читал еще.

Обеденный перерыв окончен, но народ не расходится. Просроченное время обязались отработать в конце дня.

Маяковский встретился в этот день с писателями, и с комсомольцами, и с рабкорами. Молодежь отправилась на вокзал провожать его. Владимир Владимирович усадил их в буфете за длинный стол и принялся угощать. В последнюю минуту вбежал он в вагон. Провожающие кричали ему вслед добрые слова, а он махал рукой, пока ребята не скрылись из виду…

В Краснодаре сдает голос: грипп и переутомление. Маяковский расстроен. Чтобы рассеяться, идет в бильярдную.

— Ведь для бильярда голос не обязателен.

К вечеру самочувствие ухудшилось. Выйдя на сцену большого Зимнего театра, он просит извинения за хрипоту.

— Не хочу срывать и постараюсь дотянуть до победного конца.

От выступлений в Ставрополе и в Новороссийске он

отказался.

«МАЯКОВСКИЙ ВО ВЕСЬ РОСТ»

Это было в двадцать седьмом, в Москве, у Политехнического музея, у того самого здания, где не раз проходили боевые литературные «премьеры» Маяковского и накалялся зал во время жарких и шумных диспутов. Звонкий мальчишеский голос выкрикивал: «М-а-я-к-о-в-с-к-и-й в-о в-е-с-ь р-о-ст!!» Я позвал парнишку: «Что продаешь?»

— Интересную книжку про Маяковского, купите, полтинник!

— Ну что ж, держи рубль, давай две сразу!

Тощая брошюра. Имя автора и название — на зловеще черном фоне обложки. Возможно, так придумал или во всяком случае одобрил сам автор — Георгий Шенгели.

На улице я не стал читать, а лишь воображал себе содержание книжки, как анализ творчества поэта, будучи уверен в том, что данный автор не преминет воспользоваться случаем и для резких нападок.

Однако то, что я прочитал дома, лишь доказало скудость моего воображения. Даже я, знавший, что Шенгели обижен на Маяковского за критику его книжки «Как писать статьи, стихи и рассказы», — не мог представить себе, что этот самый Шенгели отважится вылить столько грязи, откровенной брани, нагородить столько вымысла. Конечно, это была месть, и только месть. Он преследовал единственную цель опорочить, низвергнуть поэта: во всем чувствовалась предвзятость. Признанный переводчик, теоретик литературы, эрудированный критик — и злостный пасквилянт? Это казалось несовместимым.

На своих выступлениях Маяковский критиковал Шенгели главным образом за то, что тот в своей книжке брался в несколько уроков научить писать стихи, следуя чуть ли не точным и определенным правилам. Естественно, что Маяковский возмущался. Он говорил, что этой премудрости вообще невозможно научить, если речь идет, конечно, о настоящей поэзии, о хороших и добросовестных стихах. В слово «добросовестный» Маяковский вкладывал большой смысл. Даже Пушкина он называл «добросовестнейшим» поэтом своей эпохи.

«Помимо необходимых способностей надо работать до предела, до кульминации, — говорил Маяковский, — надо работать над стихотворением до тех пор, пока не почувствуешь, что больше ничего не сможешь сделать».

Сам Маяковский работал над некоторыми стихотворениями неделями, месяцами. В других случаях творческий процесс

сводился к одному дню, а то и к считанным часам: «Рассказ литейщика Ивана Козырева», «Лучший стих».

Поэт, верный своему принципу бороться стихами, опубликовал в журнале «Молодая гвардия» стихотворение с длинным и оригинальным заглавием:

«Моя речь на показательном процессе по случаю возможного скандала с лекциями профессора Шенгели»:

Я тру ежедневно взморщенный лоб в раздумье о нашей касте,
и я не знаю: поэт — поп, поп или мастер.

…

Скрывает ученейший их богослов в туман вдохновения радугу слов,
как чаши скрывают церковные. А я раскрываю мое ремесло
как радость, мастером кованную. И я, вскипя с позора с того,
ругнулся и плюнул, уйдя. Но ругань моя — не озорство, а долг,
товарищ судья.

Впервые, пожалуй, я услышал это стихотворение в Харькове, когда Маяковский выступал там совместно с Асеевым, незадолго до появления в печати (март 1927 года).

В апреле 1926 года на диспуте о книге Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы» в клубе рабкоров «Правды» Маяковский сказал: «Выпуск этой книги Шенгели так же странен, как если бы ЦК швейников издал бы трактат о том, как вышивать аксельбанты лейб-гвардии его величества полка. Зачем нужна такая затхлая книга? Она является, по моему мнению, сюсюканьем интеллигента, забравшегося в лунную ночь под рояль и мечтающего о вкусе селедки! Приходите ко мне, я вам дам эту селедку въявь, но только перестаньте морочить людям голову своими наставлениями о том, как писать стихи. Их надо делать всей своей жизнью, а не чесать языки о ямбы и хореи…»

В статье «Как делать стихи» Маяковский писал:

«Еще раз решительно оговариваюсь: я не даю никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который и создает эти самые правила».

В этом же году Шенгели выступил в Москве (возможно, и не раз, и не только в Москве) с докладом, в котором он шельмовал и громил поэта. Выступление это, по существу, явилось преддверием к его книжке «Маяковский во весь рост».

Такова предыстория вышеприведенного стихотворения. И вот появляется книжка Шенгели, выпущенная на его собственные средства, под маркой издательства Всероссийского Союза поэтов, да к тому же напечатанная не в столице, а в подмосковной типографии Промторга.

Опережая события, Шенгели оправдывался — мол, кое-кто

заявит, что моя оценка Маяковского вызвана его нападками на мои работы. Это не так: «За тринадцать лет литературной деятельности, — сказано в книжонке Шенгели, — мне приходилось видеть самые различные отзывы о моих книгах и статьях, — в том числе и безграмотные и некорректные; между тем, я лишь раз выступил с ответом на вполне достойную статью В. Я. Брюсова о моих переводах Верхарна…»

Не поймешь, чего тут больше: лицемерия или трусости?

Чтобы понять смысл книги, ее цель, авторский стиль, совсем не обязательно затруднять себя чтением всей книги, достаточно познакомиться с ее началом и концом, с ее характерными «шедеврами».

А теперь об апофеозе этого «труда».

Разбирая стихотворение «Юбилейное» (*названное им по-своему: «Пушкину». — П. Л.*), Шенгели говорит:

«Если и такое оформление дается Маяковскому с большим трудом (о чем он сам заявляет), то у нас лишний повод утверждать, что мастерства у Маяковского нет. Ведь крайне характерно то обстоятельство, что пародии на стихи Маяковского очень легко даются пародистам. Это свидетельствует о поверхностности и о дряблости его стиля».

Но это, конечно, чушь. Пародии имеются на многих писателей, в том числе и на Пушкина.

Заключительный абзац брошюрки являет собой пример типичного желчеизлияния:

«Бедный идеями, обладающий суженным кругозором, ипохондричный, неврастенический, слабый мастер, — он вне всяких сомнений стоит ниже своей эпохи, и эпоха отвернется от него».

Все это печаталось в самый урожайный год поэта, в год создания «Хорошо!» и других замечательных произведений. Вот уж подлинно «напророчил».

И как бы перекликаясь с Шенгели, в одной из ростовских газет автор рецензии на «Хорошо!» называет поэму недолговечной, картонной аркой, которая скоро отсыреет, встретит равнодушный взор прохожего.

Я склонен предполагать, что первый автор писал не то, что думал на самом деле, второй же, скорей всего, просто не разобрался в непревзойденной поэме. (К сожалению, среди писателей и критиков той поры — он не единственный.) Но форма этой рецензии и тогда не могла не вызвать уважения к автору, Ю. Юзовскому, очень талантливому журналисту, впоследствии — одному из крупных литературоведов и искусствоведов.

Отвечая на одну из очередных записок по поводу Шенгели («За что вас кроет Шенгели? Что у вас произошло?»), Маяковский подчеркнул, что тот, кто писал записку, не читал злобной книжки Шенгели, появившейся в ответ на его критику книги, в которой Шенгели пытается научить писать стихи:

— «Профессор» находит, что я исписался. Я себя утешаю тем, что прежде, значит, у меня что-то получалось. Ну, скажем, до революции. Вместе с тем он называет меня плохим футуристом. Тем самым он утверждает за кем-то право называться хорошим футуристом. И тут же заявляет, что футуризм вообще явление антикультурное и реакционное. Явная неувязка. Другое дело, я уже не раз говорил о том, что футуризм себя изжил и не имеет сейчас никакого практического значения. Это был просто переходный этап.

Здесь уместно вспомнить, как Маяковский, выступая в Нью-Йорке в 1925 году, сказал: «Футуризм и советское строительство не могут идти рядом. Отныне я против футуризма. Отныне я буду бороться с ним».

Борьба с Шенгели была тяжелой, но не бесполезной. В этой полемике Маяковский отстаивал и развивал новаторские принципы поэзии.

ВОЛГА — ЗИМОЙ

Отклонив все намеченные мной маршруты, Владимир Владимирович предложил волжские города. Это было в январе 1927 года. Я советовал дождаться навигации, чтоб соединить полезное с приятным. «Сейчас морозные дни. Придется передвигаться и в бесплацкартных вагонах. Утомительные ночные пересадки…» — говорил я Маяковскому. Но он продолжал настаивать, и меня буквально ошарашил:

— Во-первых, не люблю речных черепах, а во-вторых — это не прогулка, а работа с засученными рукавами!

Да, он всю жизнь ездил, творил, выступал с засученными рукавами! Именно эта волжская эпопея, с которой и начался «болдинский» год Маяковского, являет собой яркий пример его титанического труда.

Мы тронулись вниз по Волге… по железной дороге.

Нижний. Тридцатиградусный мороз, резкий режущий ветер…

Лед за пристанью за ближней, оковала Волга рот, это красный, это Нижний, это зимний Новгород. По первой реке в российском сторечьи скользим… цепенеем… зацапаны ветром… [10]

На розвальнях переезжаем реку. Маяковский ежится, цедит сквозь зубы:

— Не помню таких морозищей. Жаль, интересно было бы поближе разглядеть ярмарку…

Еще поворот, и, перевалив крутую гору, мы в гостинице «Россия».

В номере холодно, неуютно. Маяковский поначалу отсиживается. Приходят молодые литераторы, зовут его в четыре часа к себе.

Владимир Владимирович, как всегда, решил сначала осмотреть город.

Огромная площадь; прорезав вкривь ее, неслышную поступь дикарских лап сквозь северную Скифию я направляю в местный ВАПП.

Без пяти четыре — он на собрании литературной группы «Молодая гвардия». Маяковский просит ребят[11] почитать свои стихи и вместе с авторами обсуждает их.

Идет живой и откровенный разговор о поэзии, о литературе. Маяковский читает свои произведения.

Один из вечеров в городском театре назывался «Идем путешествовать».

Маяковский спрашивает:

— Как дела? Народ будет? Интересуются?

— Может быть, интересуются, но мороз удерживает.

— Значит, хорошо, что я роздал массу записок. И еще пригласил писателей.

Но эта «щедрость» не спасла положения. В холодном трехъярусном театре людей мало. Сидят в пальто. Обстановка непривычная.

Маяковский вышел на сцену в пальто. Я ахнул — это так не похоже на него. Правда, в театре холодно, зал не прогревается, на сцене, как всегда, особенно продувает. И все же — удивительно… Потом я раскусил: это была демонстрация. Он медленно снял пальто и повесил на спинку стула — мол, берите с меня пример.

Примеру этому последовали лишь единицы, и Маяковский поначалу, стоя на авансцене, молчал, вероятно обдумывал, как разогреть слушателей, как установить контакт, с чего начать?

— Товарищи! — доверительно обратился он к залу. — Хотя народу мало, но зато каждый на вес золота!

Зашевелились.

— Кому будет в результате теплее, покажет будущее: тем, которые пришли на мой сегодняшний вечер, или тем, которые променяли мой сегодняшний вечер на домашний уют и камин!

Оживление, смех. Кое-кто реагировал немедленно, пристроив свои пальто на пустующие кресла. И вот уже зал принял вполне сносный облик — все пошло своим чередом.

…

Владимир Владимирович несколько мрачноват — предлагает «согреться бильярдом». Начинается своеобразное священнодействие. Первая проблема — выбрать хороший кий: тяжелый, длинный, прямой. Он проверял их в вытянутой левой руке, взвешивал один за другим и прищуренным глазом уточнял прямизну. Потом, отобрав кусок хорошего мела, деловито смазывал кий и смежные суставы пальцев обеих рук.

Шары любил ставить сам — это как бы часть игры.

Больше по душе была ему «американка»: самая простая из игр — бей любым любого. На другие игры не хватало терпения. Нравилась быстрая смена положений, движение и азарт. Такая игра частично заменяла физическую работу — ведь он почти не присаживался, шагая вокруг стола. Бильярд служил разрядкой в непрерывной и напряженной работе мозга. Но выключиться совершенно он не мог — то, прерывая игру, он что-то заносил в записную книжку, то как бы по инерции читал или, вернее, нашептывал готовые или строящиеся строчки, найденные рифмы. И наконец, бильярд — хотя и не массовый, но вид спорта.

Скажем, мне бильярд — отращиваю глаз…

В углу рта Маяковский мял одну за другой папиросы. Не докурив, прикуривал от нее следующую — за вечер опустошалась целая коробка. Подолгу был молчалив, сосредоточен. А то вдруг начинал сыпать остротами, сохраняя при этом серьезное выражение лица. Лишь изредка появится улыбка — так постепенно настроение менялось: шли стихотворные цитаты, перевернутые, комбинированные слоги. Партнер озадачен и, конечно, отвлекается от своих «прямых обязанностей».

Маяковский был искусным игроком и обладал тем преимуществом, что обеими руками (он был левша) с одинаковой силой и ловкостью владел кием. Помогал ему и рост: он доставал любой шар на самом большом столе. Но, пожалуй, основные его качества как игрока — настойчивость и выносливость.

Часам к четырем утра, когда я уже стоя спал, он подбадривал меня, напевая густым басом (в бильярдной мы были одни): «Еще одно последнее сказанье…». Эту арию он очень любил.

— Серьезно, еще одну последнюю партиозу. Я покажу класс! Кладу восемь шаров с кия (то есть подряд). Я ведь только разошелся… «Последних сказаний» набралось штук пять…

Огромные зеленеют столы. Поляны такие. И — по стенам, с боков у стола — стволы, называемые — «кий».

…

Какая сила шею согнет тебе, человечий азарт?!

На рассвете отправляемся в Казань, с ночной пересадкой в Арзамасе.

Бесплацкартный холодный вагон. Вещи уложили на верхние полки, а сами уселись внизу.

Рядом с нами стоял, переминаясь с ноги на ногу, странно одетый человек. Поверх пальто — кожух не по размеру, с поднятым выше головы воротником. Валенки-броненосцы. Шапка почти боярская. Лица не видно. Постепенно, отогреваясь, сосед снял кожух, шапку… Молодой, приятный на вид, с бородкой. Он напоминал толстовского Нехлюдова. Лицо выразительное: в нем и барское, и крестьянское.

Маяковский разговорился с соседом. Спросил, где работает, куда и зачем едет. Тот постепенно выложил всю свою биографию. Собеседник оказался юристом, едет в район по судебным делам и до утра просидит в Арзамасе в ожидании транспорта, попросту говоря лошадки.

И тут же, по просьбе Маяковского, выложил суть уголовного дела, которое рассматривается в районе. Увлеклись рассказом… И вдруг юрист, не помню, с чего именно началось, поведал о своей неудаче:

— Вы знаете, у нас вчера в Нижнем выступал Маяковский. Я очень хотел попасть, но, к сожалению, не смог вырваться: предотъездная суета,

Владимир Владимирович ему в тон:

— Со мной такая же история. Я тоже хотел пойти на вечер, но заели командировочные дела.

— Мне особенно досадно, — продолжал юрист. — Мои родные и близкие были в театре, восторгались, как он здорово выступает. Такой талант! Стихи читает превосходно. Он рассказывал о поездке в Америку.

Маяковский сумел узнать у собеседника все, что его интересовало. Инкогнито сохранялось надежно. Юристу не приходило, конечно, в голову, что вместе с ним в этом бесплацкартном вагоне едет Маяковский. И он довольно точно пересказывал то, что ему пришлось слышать: как говорил Маяковский о Чикаго, Нью-Йорке, Мексике и т. д. Цитировал даже стихи, приводил кое-какие ответы на записки.

Расспрашивая нового знакомого, Маяковский интересовался, как воспринимают его стихи. («Каждый мой слушатель — это десять моих читателей в будущем». Об этом, очевидно, он и тогда думал.)

…Владимир Владимирович отказался от речных черепах. Но ему пришлось столкнуться с земными.

Он спросил:

— Почему мы так медленно ползем? Не опаздываем ли? Заглянув в справочник и в окно, я ответил:

— Нет, едем точно по расписанию, четырнадцать километров в час.

За версты, за сотни, за тыщи, за массу за это время заедешь, мчась, а мы ползли и ползли к Арзамасу со скоростью верст четырнадцать в час.

На станции Зимёнки вошли и пристроились с мешками у противоположного окна два окающих крестьянина. Они о чем-то горячо спорили. Один при этом энергично уплетал свои запасы: он чавкал, ворчал. Многие его слова с трудом улавливались. Другой, с жидкой бородкой и лукавым взглядом, что-то доказывал, поддевал его. Они то и дело вплетали в разговор нецензурные слова.

Маяковский молчал. Я, зная, как он не терпит ругани, удивился и решил было сам вмешаться. Но Владимир Владимирович жестом остановил меня. «Не мешайте, пусть поговорят, как привыкли. Иначе у них не выйдет «свободного разговора». Просто интересно послушать». (Шепотом, чтоб юрист не разобрал). Искусство требует жертв!

Он развернул газету и сделал вид, что занят чтением. Временами даже, глядя в окно, поворачивался к ним спиной. Этот «свободный разговор» я узнал в стихотворении «По городам Союза», кстати сказать, вобравшем в себя все волжское путешествие:

Напротив сели два мужичины: красные бороды, серые рожи. Презрительно буркнул торговый мужчина: — Сережи![12] — Один из Сережей полез в карман, достал пироги, запахнул одежду и всю дорогу жевал корма, ленивые фразы цедя промежду. — Конешно… и к Петрову… и в Покров… за то и за это пожалте процент… а толку нет… не дорога, а кровь… с телегой тони, как ведро в колодце… На што мой конь — крепыш аж и он сломал по яме ногу… Раз ты правительство, ты и должон чинить на всех дорогах мосты. — Тогда на него второй из Сереж прищурил глаз, в морщины оправленный. — Налог-то ругашь, а пирог-то жрешь… — И первый Сережа ответил: — Правильно! Получше двадцатого, что толковать, не голодаем, едим пироги. Мука, дай бог-хороша такова… Но што насчет лошажьей ноги… взыскали процент, а мост не проложать… — Баючит езда дребезжаньем звонким. Сквозь дрему все время про мост и про лошадь до станции с названьем «Зимёнки»[13].

Так возникла крестьянская тема, которая, вообще-то говоря, скупо представлена в творчестве поэта.

После утомительного переезда еще более тяжелым было одиннадцатичасовое ожидание в Арзамасе.

Крохотный неуютный вокзал.

Маяковский пригласил попутчика-юриста в буфет, где не только негде было присесть, но и стоять негде было. Кому охота в такой мороз выбираться из буфета! Наконец буфетчица освободила столик. Заказали вино. Бутылка оказалась на редкость грязной. Буфетчица вроде оправдывалась: «Давно лежит, никто дорогих не требует».

— Ага! Чем грязнее, тем дороже! — пошутил Маяковский. Закусили, немного обогрелись.

В разговоре, непринужденно, стараясь не «сразить наповал» собеседника, Маяковский наконец назвал себя. Юрист сперва растерялся, а затем весь вечер глядел ему в глаза, как завороженный.

С его помощью мы еще до начала посадки устроились в «кукушке», отправляющейся на Арзамас-II. Вагон не топлен, нет света. Вскоре набилось полно народу. Просьба закрыть двери ни к чему не привела. Продрогли: зуб на зуб не попадает. Так просидели мы больше часа. «Кукушка» в эту ночь не пошла — не могли разогреть паровоз. С трудом выбрались из вагона.

Встретили юриста. Что делать? Как добраться до цели? Вблизи никаких признаков не только автомобильного, но даже захудалого гужевого транспорта.

Наш милый попутчик не только раздобыл розвальни, но и взялся нас провожать, хотя дорога его лежала совсем в другую сторону. Семь километров на кляче, через пустыри и рощи, дались нелегко. Мы окоченели. Но помог кожух юриста, которым он догадался покрыть наши ноги. А то и отморозить недолго: мороз под сорок, ветер свищет вовсю, на ночь глядя.

В Арзамасе-II Владимир Владимирович сердечно распрощался с юристом и, войдя в вагон, мгновенно заснул.

В Казани, к счастью, мороз значительно ослабел. Настроение заметно поднялось: билеты на оба вечера расхватали в один день. Оперный театр осажден — толпа катастрофически разрастается. Появляется конная милиция — такое я наблюдал впервые. Студенты требовали входных билетов, и дирекции пришлось согласиться. Толпа хлынула в театр. Стеклянная резная дверь разбита. Студенты пробрались даже в оркестр.

Я объяснил Маяковскому, как пройти в театр. Хорошо ориентируясь даже в незнакомых городах, он обычно находил дорогу без расспросов.

Пора начинать, а Маяковского нет. Странно и на него не похоже!

Наконец, догадавшись, что он не может попасть на свой собственный вечер, я взываю к милиции. Его извлекают из толпы уже изрядно помятого. Но он приятно возбужден: ему, пожалуй, нравится все это, он энергично шагает по сцене, раздвигает театральную мебель, чтоб просторнее было. Нашлись «энтузиасты», которые проникли и под сцену. Их удаляют. Маяковский уговаривает оставить их, но безрезультатно. И «зайцы», топоча и крича, взмыли из подземелья в небеса. Казалось, рушатся лестницы: втиснулись меж сидящих, заполнили все пространство, нависли с третьего яруса, того и гляди, грохнутся эти человечьи гроздья вниз, на партер.

Маяковский поднял голову, вперив взор в верхний ярус, открыл от удивления рот и застыл в такой позе на несколько секунд. Зал пуще прежнего расшумелся. Ну как было в эту минуту не возникнуть ассоциации с зияющей пустотой нижегородского театра?

Маяковскому долго не давали начать: буря аплодисментов, которую не могли остановить ни его поднятая рука, ни призывы. Он развел руками, улыбнулся и сказал:

— Я уже выступал в Казани вместе со своими соратниками по искусству Василием Каменским[14] и Давидом Бурлюком[15]. Это

было в те далекие времена, когда помощники присяжных поверенных говорили про нас, что этих-де молодых людей в желтых кофтах хватит не более как на две недели. Но пророчества эти, как видите, опровергнуты уже тем, что я по прошествии тринадцати лет опять стою перед казанской аудиторией.

Левый фронт[16] является в настоящее время наиболее ярким крылом в искусстве, и представители его завоевывают все большее и большее место в поэзии, драматургии, живописи, архитектуре и даже кино.

С другими литературными течениями нам не по пути по многим причинам. От ВАПП нас отталкивает его убогая, неквалифицированная литературная продукция. Небрежное отношение большинства поэтов к литературной работе вообще очень характерно для нашего времени. И вообще, — шутит Владимир Владимирович, — поэты, едва что-нибудь напечатав, быстро запоэтничиваются (как, бывало, комиссары закомиссаривались) и воображают себя не только Пушкиными, но даже… Маяковскими.

Газета «Красная Татария» потом писала об этом выступлении:

«Такой же большой и мощный, как его образы. Над переносицей вертикальная морщина. Тяжелый, слегка выдающийся подбородок. Фигура волжского грузчика. Голос — трибуна. Хохлацкий юмор почти без улыбки. Одет в обыкновенный совработничий пиджак, лежащий на нем мешком. На эстраде чувствует себя как дома. К аудитории относится дружески-покровительственно».

Казанский триумф Владимир Владимирович объяснял главным образом тем, что Казань — старинный университетский город и столица республики.

— Обязательно еще раз сюда приеду! Столпотворенское вавилонье! Только Шаляпин может сравниться со мной! (Шаляпин был на устах, быть может, еще и потому, что Казань — родина гениального артиста.)

Студенты хотели еще в театре договориться с Маяковским о его выступлении в университете. Но постеснялись. Утром они робко постучали в дверь номера, а минут через пять их лица сияли от счастья. Выступление было назначено на сегодня в два часа дня. И хотя объявить об этом они смогли незадолго до начала, актовый зал был так же переполнен, как накануне — театр.

Маяковский буквально загорелся, отменив еще вчера намеченные планы. Он думал, вероятно, о совпадении: сегодня траурный день, третья годовщина со дня смерти Ленина,

выступать придется в здании, где учился Владимир Ильич. С этой трибуны, быть может, звучал голос Володи Ульянова и здесь он принимал участие в студенческих «беспорядках». Обо всем этом думал Маяковский, входя в Казанский университет.

В эти траурные дни Маяковский нарушил свой постоянный принцип: исключил из программы, в первую очередь, резко-сатирические стихи, меньше острил… Все выглядело строже и спокойнее: отрывки из первой и второй и полностью вся третья часть поэмы «Владимир Ильич Ленин» составили стержень программы…

Через год, в этом же зале прозвучали проникновенные строки («По городам Союза»), написанные под впечатлением прошлогодней встречи:

Университет — горделивость Казани, и стены его и доныне / хранят любовнейшее воспоминание о великом своем гражданине. Далёко за годы мысль катя, за лекции университета, он думал про битвы и красный Октябрь, идя по лестнице этой. Смотрю в затихший и замерший зал; здесь каждые десять на сто / его повадкой щурят глаза и так же, как он, скуласты. И смерти коснуться его не посметь, стоит у грядущего в смете! Внимают юноши строфам про смерть, а сердцем слышат: бессмертье. Вчерашний день убог и низмен, старья премного осталось, но сердце класса горит в коммунизме, и класса грудь не разбить о старость.

Снова «черепаший» поезд тащил нас свыше суток уже в Пензу. Приехали поздно вечером. Утром явились рабкоры, молодые поэты, приглашали Маяковского к себе. Но он должен уехать из Пензы сегодня же, после выступления в театре. И чтобы товарищи не обиделись, он зовет их в пять к себе в гостиницу.

Маяковский спрашивает, не знаю ли я, где тут жил Мейерхольд или где он родился.

— Это можно узнать…

Вспомнил Владимир Владимирович и другие имена, связанные с Пензой. А пока надо побродить по городу. И он отправился на базар.

На каждом доме советский вензель зовет, сияет, режет глаза. А под вензелями в старенькой Пензе старушьим шепотом дышит базар. Перед нэпачкой баба седа отторговывает копеек тридцать. — Купите платочек! У нас завсегда заказывала сама царица…-

Точно в условленное время пришли гости (среди них, как я узнал через много лет, были товарищи, ставшие впоследствии профессиональными литераторами: поэтесса А. Кузьменко, журналисты А. Демидов, Б. Куликовский и другие).

Предполагалось, что явится человек десять. Но пришло куда больше — в крохотном номере садятся на кровать, на диван, на стол и… на пол. Один Маяковский не садится. Читают стихи, дружески беседуют, засыпают поэта вопросами.

Помню такой вопрос:

— Что получилось бы, если бы вы писали обыкновенными строчками?

— Тогда вам труднее было бы их читать, — ответил Маяковский. — Дело не просто в строчках, а в природе стиха. Ведь читателю надо переключаться с одного размера на другой. У меня же нет на большом протяжении единого размера. А при разбитых строчках — легче переключаться. Да и строка, благодаря такой расстановке, становится значительнее, весомее. Учтите приемы — смысловые пропуски, разговорную речь, укороченные и даже однословные строки. И вот от такой расстановки строка оживает, подтягивается, пружинит. Эта форма отрешает вас от затвердевших канонов, и в наши дни вы перестаете ассоциировать ее со старыми формами, в которые новое содержание не всегда лезет. Слова сами по себе становятся полнокровными — и увеличивается ответственность за них.

Но главное, повторяю, в их природе. Заодно добавлю, есть такой критерий: из хорошей строчки слова не выбросишь. А если слово можно заменить, значит, она еще рыхлая. Слово должно держаться в стихе, как хорошо вбитый гвоздь. Попробуй, вытащи! И наконец, стихи рассчитаны в основном на чтение с голоса, на массовую аудиторию. Новое всегда непривычно, товарищи. Трудновато бывает, но зато потом становится интересно. И чем дальше, тем интереснее.

Беседа закончилась только тогда, когда Маяковский собрался в театр. Но товарищи не расстались с ним: отправились послушать его рассказ о путешествии в Америку.

У нас все было рассчитано по минутам: с вещами в Нардом[17], начать точно в восемь, перерыв сократить до минимума и ровно в 10 часов 20 минут закончить, иначе опоздаем к поезду на Самару. Договариваемся: если увлечется — зайду в ложу и буду сигнализировать ему, подняв руку: пора кончать. Так и пришлось сделать.

Небезынтересно отметить, что в Пензе заведующий Политпросветом отказался разрешить вечер Маяковского на том основании, что ему якобы неведомо это имя. (Не скрывалось ли за этим пренебрежение к поэту?) По моей просьбе вмешался горком партии, и разрешение было получено. Вскоре политпросветчика освободили от работы.

Прекрасно устроились: отдельное купе, сумеет, значит,

Маяковский отдохнуть — поезд почтовый, идет часов 12.

Но суета путешествий, «скачки с препятствиями» были сродни Владимиру Владимировичу. Он любил и остро ощущал насыщенность дня.

В седьмом часу утра (январь — темно!) в Сызрани узнаю, что нас обгоняет ташкентский скорый. Маяковский, слыша мой разговор с проводником, просыпается.

Спрашиваю:

— Как быть? Не пересесть ли? Маяковский еще в полусне, бросает:

— О чем речь? Конечно. Разделение труда: вы бегите оформлять билеты, а я тем временем соберу вещи.

Выйдя из вагона, я понял абсурдность затеи: ветер, мороз, гололед. На перроне ни души. Носильщика нет. Поезда стоят далеко друг от друга (метров 300), в разных концах перрона. Но я все равно пошел. Бежать невозможно, а можно только семенить ногами.

Я возвращался из кассы, держа в руке билеты и сдачу, когда увидел Маяковского с носильщиком. Но тут, на радостях, должно быть, я поскользнулся, упал и выронил билеты. Быстро подобрав их, я кинулся догонять Маяковского. В эту минуту поезд тронулся, и я услышал крик:

— О-с-т-а-н-о-в-и-т-е!!!

И поезд… остановился.

В это трудно сейчас поверить.

Сознаюсь, что ни до, ни после этого я не ощущал такой силы голоса Маяковского.

Мы добежали до середины состава: была открыта дверь только одного вагона, на ступеньках которого стоял начальник поезда. Он-то и наблюдал наш условно-стремительный бег, приняв нас, видимо, за начальство. Вся эта картина, надо полагать, произвела на него впечатление, и он дал свисток. Машинист стал притормаживать.

Маяковский первым вскочил в вагон, я — следом. Снова свисток, и поезд тронулся.

На ходу Маяковский бросил носильщику купюру, которая летала по ветру. Владимира Владимировича волновало, подберет ли ее носильщик, и он выглядывал из вагона до тех пор, пока не убедился, что деньги достигли цели. Взяв часть вещей, он удалился в купе.

— Кто этот здоровый дядька? — спросил меня начальник. — Почему вы останавливаете скорые поезда? Что случилось?

— Ничего особенного, просто командированные, пересели с почтового, торопимся в Самару, — объяснил я.

Когда же началась проверка билетов, то выяснилось, что я потерял одну доплату — за плацкарту и скорость. Грозил штраф. При размахе Маяковского сам по себе штраф значения не имел — жаль было затраченных сил.

Вдруг меня осенило. Весьма учтиво обратился я к начальнику: «Можно вас на минуточку?» И тот вышел в коридор.

— Помните, вы спрашивали, кто этот здоровый дядька?

— Ага.

— Может быть, вы не знаете, а может, слыхали, есть такой известный поэт — Владимир Маяковский.

— Ну?

— Ну, так вот это он и сидит в купе.

Начальник схватился за голову:

— Подумать только, в моем вагоне живой Маяковский! Познакомь меня с ним.

Смешно прозвучало: «познакомь». Будто он не разговаривал уже с Маяковским! Оказалось, он давно любит стихи Маяковского, знает их на память и к тому же сам «занимается стихописанием».

Теперь он сидел в нашем купе и постепенно, поборов смущение, разговорился вовсю, читал не только стихи Маяковского, но даже свои. Владимир Владимирович не остался в долгу: знакомил с новыми стихами, делился планами и т. д. Все это напоминало «творческое содружество». Начальник, боясь упустить минуту свидания, почти не отлучался из купе, несмотря на уйму дел…

Штрафа, разумеется, мы избежали.

Начальник поезда мечтал довезти поэта до самого Ташкента.

— А как же Самара? — засмеялся Маяковский.

— Ничего, подождут. На обратном пути заглянете.

Но за пределами фантазии начиналась реальная жизнь. В Самаре новый знакомый помог нам выгрузить вещи и направился было на привокзальную площадь, но Владимир Владимирович преградил ему путь: вещи перешли к носильщику, и мы распрощались.

В Самаре, в номере Маяковского, всю ночь просидели гости — заезжие москвичи. На этот раз он изменил своему обычаю — есть в ресторане — и завел у себя целое хозяйство: накупил продуктов и вина (любимого грузинского сухого и шампанского).

— В винах надо разбираться, — говорил он. — Это большая специальность.

Шипенье пенистых бокалов И пунша пламень голубой.

Вот кто понимал и чувствовал, что такое вино!

У нас же некоторые поэты пишут о винах, не имея о них

понятия. Надо браться только за то, что знаешь. Надо учиться у Пушкина. Это вам не есенинское «дррр». Вы чувствуете, как это здорово сделано! Шш и пп — ппенистых, ппунша, ппламень — товарищи, это здорово! Дай бог всякому! Я и то завидую. Пушкин понимал, что такое пунш, с чем его едят и как он шипит. Надо чувствовать это шипение.

Тем понятнее становится этот рассказ, когда вспоминаешь, как Маяковский на публике говорил: «Вино я всосал с молоком матери — родился среди виноградников и пил его, как дети пьют молоко».

Ведь сам-то Владимир Владимирович слыл знатоком винных дел. Зато уж в другую крайность он не впадал: водки не признавал, разве что изредка, за компанию или в торжественно-новогодние дни.

Не зря Маяковский мчался в Самару — будто чувствовал, что закипит работа. Здесь поэт побил рекорд — четыре выступления в один день: у рабфаковцев, учителей, рабкоров и в партклубе. Как ни подсчитывай, это десять часов чистого разговора с трибуны, да надо учесть еще и беседы в интервалах между встречами. Владимир Владимирович, по натуре человек организованный, в этот день нарушил режим — и вовсе не ел. Кстати, Маяковский говорил не раз:

— Пища — вещь немаловажная, от нее зависит твоя работоспособность.

Он высмеивал тех, кто считал неудобным распространяться о таких «низменных материях», как пища и сон:

— Таких товарищей я расцениваю как аристократов в кавычках.

В Саратове — вынужденное заточение в номере. Подолгу смотрел он в окно, выходящее на главную улицу города.

Не то грипп, не то инфлуэнца. Температура ниже рыб. Ноги тянет. Руки ленятся. Лежу. Единственное видеть мог: напротив — окошко в складке холстика — «Фотография Теремок, Т. Мальков и М. Толстиков».

Молодой, здоровый, выносливый Маяковский захворал, как это, кстати сказать, бывало не раз и как это имело место третьего дня в Самаре.

Но болезнь, правда, не сломила воли поэта. И он решил не срывать намеченных вечеров. Однако возникла другая преграда: Политпросвет всячески пытался затормозить выступления.

Он требовал представить тексты стихов и подробно изложить содержание докладов (мудрый товарищ, что и говорить). Мне удалось убедить не тревожить больного. Потом, как и в Пензе, все уладилось.

…На лестнице и вестибюле партклуба Маяковского осаждают, выпрашивают пропуска. Он просит непременно пропустить группу красноармейцев. И прежде чем начать выступление, не забывает проверить — пропущены ли они.

— Красноармейцы должны всегда проходить в первую очередь и обязательно бесплатно! Ведь они нас защищают!

Больной Маяковский напрягает голос. Слушателям это незаметно.

Разговор-доклад назывался «Лицо левой литературы».

После окончания мы выходим на улицу, и внезапно Маяковский предлагает спрятаться за кусты — послушать, что говорит публика.

Раздаются голоса:

— Здорово читает!

— Какой нахал!

— Ну и талантище!

— Какой остроумный!

— Подумайте, как он на записки отвечает. Кроет, очнуться не дает!

— Хвастун здоровый!

— Вот это да! Говорит без единой запинки!

— Я сам читал, ни черта не понял, и вдруг — все понятно. Просто удивительно!

Выйдя из-за кустов, Маяковский резюмирует:

— Значит, польза есть. А ругань не в счет.

ДВА ПОЭТА

В начале февраля 1927 года я из Харькова телеграфировал Маяковскому о сроках выступлений. Когда же вернулся в Москву, он встретил меня смехом:

— Не из сумасшедшего ли дома вы давали телеграмму? Зимой — в поле? Бред!

И показал телеграфный бланк. Там было написано: «Восемнадцатого поле, 10/20 Курске, 22 Харькове».

Я протер глаза. Ничего не изменилось. Телеграф перепутал: «поле» означало Тулу, а 10/20 — 19.20.

Владимир Владимирович пригласил с собой в поездку Николая Асеева. От Москвы до Тулы время проходит незаметно: поэты беседуют о стихах, играют в «тысячу».

— Кто кого? — спрашиваю.

— Ясно, Асеев. Мне ли с ним тягаться! — отвечает Маяковский. — Я стесняюсь брать с него фору, вам же он свободно даст сто очков.

У Асеева идеальная память. У Маяковского тоже, но он малость рассеян в игре.

В Туле берут общий номер.

В двух газетах — статьи. В одной — мирная афиша. Даже не плакатной формы. О футуристе Маяковском она говорит скромнее, чем о местном митрополите Виталии. Унылой лентой тянется длинное: «Маяковский» (*лента — 216 сантиметров. — П. Л.*).

В другой газете некий Медведев, восторженно отзываясь о Маяковском, предлагая словесникам изучать «его вклад в сокровищницу русского языка», писал:

«Маяковский едет в Тулу. Это хорошо. Владимиру Владимировичу (так зовут Маяковского) давно бы нужно это сделать. Главное, его в Туле, как и везде, знают. Да, да, знают, и обиднее всего — не понимают. Не понимает его тульская интеллигенция (я, конечно, не говорю об исключениях), не понимает его и рабочий класс города Тулы…»

Газета снабдила статью примечанием: «На спорные положения автора редакция ответит после обмена мнениями».

Вечер открыл Маяковский. Он представил Асеева, о котором не упоминалось в афишах (его поездка поначалу не планировалась).

— Со мной приехал талантливый поэт Асеев. Своими стихами он доставит вам немало удовольствия. Для вас — несомненный

выигрыш.

Выступали по очереди. Пока один читал, другой просматривал записки. Среди них были такие:

«Приходилось ли вам за границей читать свои произведения, и если да, то как вас там, понимали или нет?»

«Даешь „Облако в штанах“!»

«Правда ли, что вы не могли оторваться от „Евг. Онегина“ целую ночь?»

«Ну как, дружок, Тула-то какое произвела на тебя впечатление и не напишешь ли что-либо о Туле?»

«Вы так живо описывали, как на пароходе тошнило всех на третий класс, так что можно подумать, что вы ехали как раз там».

«Тов. Маяковский! Ваши стихи хорошо читает Бася Бисевич[18]. Вам далеко до нее!»

— Я приветствую Басю Бисевич и со своей стороны приложу усилия, чтоб ее догнать.

Зал расхохотался.

Поздно ночью отправляемся в Курск, в котором Асеев провел свою юность. Маяковский интересуется подробностями жизни тех лет.

На первом вечере народ еще был. На втором — четверть зала. Маяковский предложил «зазывать публику»… Принимаем экстренные меры: вход свободный. Я попробовал даже осуществить мысль Владимира Владимировича и вышел на улицу. Но там — ни души.

…В Харькове на афише уже красуются оба имени и на двух языках.

Маяковский поначалу обрадовался и тут же возмутился. Фамилии поэтов стояли не по алфавиту. Владимир Владимирович потребовал внушить местным театралам, которые взялись печатать рекламу, что это бестактно, и просил меня в дальнейшем быть в таких случаях настороже. (Ведь я-то послал им текст, придерживаясь алфавита.)

Когда Маяковский в Москве составлял текст афиши, я удивился: «Почему вы намечаете программу и за Асеева?» Он ухмыльнулся:

— Я лучше знаю, что ему нужно читать. Пишите: «Синие гусары», «Оранжевый свет», «Через головы критиков», «Колокола», «Обрез», «26» и др.

Все это и вошло в программу вечера.

Театр Держдрамы (Государственный театр драмы) переполнен. Маяковский вел разговор-доклад: «Даешь изящную жизнь».

В Технологическом институте состоялся вечер специально

для студентов — билеты очень дешевые. Маяковский одобрил:

— Вот видите, все довольны: и студенты, и мы. Опыт удался. Дешево и полно. Так и надо: бить на количество. Это самое важное.

Невзирая на февраль, сам по себе город Киев, неповторимый по своей красоте, вселял в обоих поэтов дух бодрости и задора. Много и успешно выступали. В один из вечеров прекрасно провели время у знакомых Владимира Владимировича. Прилив чувств наблюдался и назавтра, когда поэты затеяли почему-то посреди дня «пасьянс». И это, казалось бы, мирное занятие превратили в азартную игру — страсти разгорались. Но игровой запал внезапно был нарушен. Я принес свежий номер «Известий». Развернули. Маяковский вскочил:

— Как могли напечатать такую дрянь?

Вспылил и Асеев.

Подвал за подписью Полонского назывался «Леф или блеф?».

Они читали, перечитывали, снова возвращаясь к отдельным местам. Отшвыривали газету и опять хватались за нее, в пылу раздражения намечая план разгрома автора…

В Харькове получили продолжение этой статьи — в «Известиях» от 27 февраля. А месяц тому назад их задела в той же газете статья Ольшевца «Почему Леф?», которая вместе с вышеупомянутой стала предметом обсуждения на собрании сотрудников журнала «Новый Леф» 5 марта 1927 года в Москве.

Для того чтобы познакомить хотя бы со стилем и духом статьи «Леф или блеф?» со скромным подзаголовком — «Заметки журналиста», стоит привести выдержки:

«Перебрасываю страницы: статья „Караул“ Владимира Владимировича Маяковского. Почему кричит „караул“ наш знаменитый поэт?! Оказывается, написал он сценарий, про который сам Виктор Шкловский сказал: „Тысячи сценариев прочел, а такого не видел. Воздухом потянуло. Форточку открыли“. Но правление Совкино сценарий отвергло. Об этом вот происшествии и кричит „караул“ в редактируемом им журнале В. В. Маяковский… По отрывку трудно судить о достоинствах целого. Но если „целое“ походит на опубликованную часть, — я за Совкино! Пусть кричит „караул“ один Маяковский. Времени у него много, делать ему, очевидно, нечего. Заставлять же кричать „караул“ многотысячную массу кинозрителей нет смысла…

В статье, написанной в стихах, Маяковский договаривает то, чего не договорила передовица. В нашем искусстве и реализма всамделишнего нет. Настоящие „реалисты“ это — они, лефы, а все прочие — „блюдо- рубле- и тому подобные лизы“[19].

…И дальше рубленой прозой сухо рассказывается о том, что

они, лефы, без истерики, деловито строят завтрашний мир. Скажите, пожалуйста! А мы этого-то и не заметили!»

Статья была издевательской. И хоть в ее «послесловии» говорилось, что она якобы не направлена против Маяковского, Асеева, Третьякова, Шкловского и других лефовцев, что, мол, «взятые порознь — они заслуживают всяческих похвал: имена их — среди самых видных в рядах советской литературы», на самом же деле Маяковский был представлен в статье в ложном свете.

По пути в Москву говорили об одном и том же, об ответе Полонскому.

«Леф или блеф?» — так была озаглавлена не только статья В. Полонского, но и диспут, состоявшийся в большой аудитории Политехнического музея 23 марта[20]. На афише значилось:

«Выступают от Лефа: Н. Асеев, О. Брик, В. Жемчужный, М. Левидов, А. Лавинский, В. Маяковский, В. Перцов, А. Родченко, В. Степанова, В. Шкловский.

Против: Л. Авербах, А. К. Воронский, О. Веский, И. Гроссман-Рощин, В. Ермилов, И. Нусинов. Приглашен В. П. Полонский и все желающие из аудитории. Вечер иллюстрируется новыми стихами лефов».

Аудитория не вместила всех желающих.

Председательствовал В. Фриче. Выступали не все перечисленные в афише, а Маяковский и Полонский (два основных полемиста), затем: Асеев, Шкловский, Нусинов, Авербах, Левидов, Бескин.

Бой разгорелся жаркий. В. Фриче не раз призывал аудиторию к порядку. Дошло даже до того, что он заявил: «Я буду вынужден сложить с себя звание председателя, а вы знаете, что это грозит срывом собрания».

Маяковский произнес вступительное слово. Он же заключал.

Спустя два месяца Полонский в «Новом мире», как бы продолжая диспут, опубликовал статью «Блеф продолжается», а в журнале «Красная новь» появилось «сочинение» А. Лежнева с уничтожающим заголовком «Дело о трупе». Автор в недостойном тоне нещадно громил «Леф».

НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ

Жду Маяковского в главном вестибюле Белорусского вокзала. И вот он вырос у дверей, размахивая двумя чемоданами. Я удивился:

— Что вы так размахались, силу показываете?

Едва заметная улыбка, и чемодан раскрыт. Пустой, легкий.

— Помните, я вам обещал? Получайте!

— Большое спасибо! Но вы напрасно беспокоились. Я бы сам заехал к вам и все туда бы уложил.

— Я рассчитал заранее. И Маяковский берет у меня из рук старый чемодан и кладет его в пустой новый.

О таком чемодане (большом и легком) я действительно мечтал: ведь только в этом году я был в разъездах 250 дней!

В Смоленске при выходе из вокзала — пробка. Толкаются, как на пожаре. Маяковский видит: затерли старуху с мешком — и своей мощной фигурой сдерживает натиск. Старуха спасена, а Маяковского понесло людским потоком.

В гостинице такой разговор:

— Жаль, что приходится сегодня уезжать, номер хороший, — сказал Маяковский.

— Самый лучший. В нем сам Луначарский жил. Народу ходило к нему, ужас! — говорит дежурная.

Маяковский:

— Ну, конечно, мне до него не дотянуться, но зато я стихи пишу, а он — нет. Он просто начальство и прозаик.

После вечера в Гортеатре мы покидаем Смоленск, и на рассвете — в Витебске. Владимир Владимирович здесь впервые. Он предлагает прогуляться.

За мостом над узенькой Двиной крутой подъем по Гоголевской. Я прошу замедлить шаг, но это не в его натуре. Тогда под предлогом передышки я остановился и тем самым вернул себе попутчика.

Именно в эту минуту мне бросилась в глаза вывеска на противоположной стороне улицы.

Раки, кружка пенистого пива и надпись: «Завод им. Бебеля».

Я вопросительно посмотрел на Маяковского, как бы ища ответа: что это значит? Он только улыбнулся, потом скривил рот и молча продолжал путь. То и дело поэт заносил что-то в записную книжку. Тогда, как я понял позже, возникали уже наброски стихотворения «Пиво и социализм» (первоначальное заглавие — «Витебские мысли»)[21].

Даже в бильярдной, в которую мы попали в безлюдное дневное время, Маяковский умудрялся то и дело между ударами заносить в записную книжку наброски этого сатирического стихотворения.

Незначительный, казалось бы, факт был обобщен:

Товарищ, в мозгах просьбишку вычекань, да так, чтоб не стерлась, и век прождя: брось привычку (глупая привычка!) — приплетать ко всему фамилию вождя.

Еще одна бессонная ночь (пересадка).

В седьмом часу курьерский привез нас в Минск.

Маяковский спросил:

— Сколько у нас столиц?

— Много.

— А в скольких вы бывали?

— Почти во всех.

— Я был не везде, но должен быть везде!

Тогда же он, как бы продолжая свою мысль, заметил:

— Как хорошо звучит: «Центральный Исполнительный Комитет Белоруссии». Мы часто не отдаем себе отчета в том, что произошло за короткий срок: народ имеет свою Республику — это грандиозно!

Я дважды телеграфировал в минскую гостиницу, чтобы нам забронировали номера. Когда же мы обратились к портье, тот попросил подождать.

Владимир Владимирович уселся в тяжелое кресло и, казалось, вот-вот уснет.

Я проявлял активность, рвался к директору.

Выяснилось, что на четвертом этаже есть свободный номер, но директор распорядился обеспечить Маяковского лучшим, который вскоре он и занял.

Как всегда, много гостей. Один из них — молодой поэт — спросил:

— Почему вас столь назойливо упрекают в неуважении к Пушкину?

— Бывает разное отношение к его наследию, — ответил Маяковский. — Мне не могут простить того, что я не пишу, как он. Раздражает лесенка. Вот решили: раз я не пишу, как Пушкин, значит, являюсь его противником. Приходится чуть ли не оправдываться, а в чем — и сам не знаешь. Подумайте, — добавил он, — как можно, не любя Пушкина, знать наизусть массу его стихов? Смешно! Меня как-то спросили: «Почему вы пишете лесенкой, ведь так писать гораздо труднее?» — «А как вам, товарищи, по лестнице труднее ходить вверх, чем без лестницы?» — задал в свою очередь вопрос я. — «Легче!» Так вот,

поймите, что лесенка вам помогает читать, хотя и писать так труднее. Зато слова точнее, осмысленнее произносятся и понимаются. Надо только преодолеть косность. Стихи, которые легко читаются, далеко не всегда запоминаются. А вот хорошие стихи, когда уж запомнишь, то надолго. Вот, например, басни Крылова. Мы учим их чуть ли не в первом классе, а помним до глубокой старости. Почему? Потому что это гениально!

Я вклинился в разговор, вспомнил эпизод своего детства:

— Школьный товарищ отвечал урок: вступление к «Медному всаднику». Прочел ДСП (до сих пор) — и продолжал еще минут двадцать, до самого звонка. (Чтобы спасти не выучивших урока.) Учитель не остановил — сам увлекся, что ли.

Маяковский поддержал:

— Ну как бы он запомнил чуть ли не всего «Медного всадника», если бы не любил Пушкина?

Через полвека должен признаться, что этим школьником был я (о чем и поведал тогда Владимиру Владимировичу).

— Первейшее дело, — сказал Маяковский, — навестить друзей — Шамардину[22] с мужем (И. А. Адамович — Председатель Совета Министров Белоруссии).

Я расстался с Владимиром Владимировичем и на обратном пути забрел в парикмахерскую.

— Ты знаешь, кого я только что стриг? Самого Маяковского! — сказал мастер своего дела.

— Нашел чем хвастаться! Что тут особенного?

— Чудак! Это же большой человек! Стричь такую голову, — это уже целая история! А главное — он уплатил мне столько, как никто и никогда. Вот это размах!

Я понял, что Маяковский только что отсюда вышел.

Шамардина была одна, муж пришел позднее. Вспоминали молодость (им сейчас-то было по 33). Читали белорусские стихи, но как ни старалась хозяйка научить — гость с трудом усваивал. Это не удивительно: за пять минут или за час никаким языком не овладеешь, даже если он сродни русскому и даже если речь идет о таком способном ученике, как Маяковский.

Когда Иосиф Александрович появился, то гость чуть смутился, стал молчаливее и шепнул Соне: «Удобно ли, что я тебя на „ты“?» Хозяйка расхохоталась и рассказала мужу о наивности ее старого друга, опасавшегося «повредить» ей.

После обеда направились в клуб, где сегодня выступал поэт. До начала оставалось минут двадцать-тридцать. Шагали по фойе. За нами увязалась молодежь. Какой-то парень смущенно вручил тетрадь своих стихов, попросив хоть мельком взглянуть на них. Было это не ко времени, на ходу, перед самым выступлением.

Маяковский полистал:

— Молодой человек, — спокойно произнес он, — я бы посоветовал вам заняться более полезным делом. (Вероятно, стихи были слабые, в противном случае Владимир Владимирович не был бы так категоричен.)

Шамардина несколько обескуражена его резковатостью и жалеет парня, которого, как выяснилось, она знала, — он работал слесарем.

Владимир Владимирович заволновался:

— Найдем его, я с ним поговорю подробнее. Но парня так и не нашли.

В Минске, как и в других городах, Маяковский организовал продажу и подписку на редактируемый им журнал «Новый Леф». В Москву он привез справки — результат работы.

— Если бы местные работники проявили хоть немного инициативы, книгожурнальная наша торговля решительно бы улучшилась, — сказал Владимир Владимирович после вечера.

В Минске в эти дни Белгосиздат организовал выставку белорусской книги. Маяковский посетил ее вместе с Шамардиной. Он детально интересовался тем, как поставлена книготорговля.

Стоит познакомиться с некоторыми белорусскими записками и ответами Маяковского. Они не похожи на те, которые уже приводились:

«т. Маяковский. Читаете ли вы литературу соседних республик, как-то белорусской, украинской и др.?»

— Читаю, но главным образом в переводах, это не то, но при некотором опыте разобраться могу. Языка белорусского, к сожалению, не знаю.

«Почему вы сегодня так мало говорили о себе?»

— Я жду, пока вы скажете обо мне.

«Ваш взгляд на поэтическое вдохновение?»

— Я уже говорил о том, что дело не во вдохновении. Вдохновение можно организовать. Надо быть способным и добросовестным. Первое не зависит всецело от тебя.

«Тов. Маяковский! Бросьте вы отвечать на глупые записки. На это жаль времени».

— По существу правильно. Но, к сожалению, приходится отвечать и проучать.

«Читали ли вы поэму Якуба Коласа „Сымон Музыка“?»

— Пока не читал. Но надо обязательно прочесть Коласа и Купалу. Это люди очень талантливые. Ряд вещей я знаю, но надо ближе познакомиться.

«Тов. Маяковский, вы замечательно интересный, по вашим

произведениям видно, вы недюжинной силы талант. Я уверена, что вы будете тем Толстым в нашей эпохе, о котором вы говорили, что он должен явиться у нас».

— Если не считать отсутствия бороды, в остальном не возражаю.

«Почему вы носите галстук кис-кис?»

— Потому что не мяу-мяу.

«Пишите ли вы какое-либо крупное произведение?»

— Пишу поэму, которую хочу закончить в этом году, к десятилетию Октября. Названия точного еще нет.

…Дней через пятнадцать Маяковский снова увидит Минск, теперь уже — проездом за границу…

ПЯТЫЙ ТОМ

Маяковский вез в Ленинград первую часть поэмы «Хорошо!» (тогда она еще не имела точного названия), чтобы к десятилетию Октября осуществить инсценировку в Михайловском театре. «Это увлекательно, ответственно и волнительно, — сказал он, — что из этого выйдет, покажет будущее».

Я предложил остановиться на день в Твери, а то обычно едешь, скажем, в Нижний, забываешь про Владимир, мчишься в Ленинград — пролетаешь в сладком сне Тверь. Он согласился со мной.

И вот — Тверь. Я жду Владимира Владимировича в зале горсовета. Его поезд прибывает в семь, а начало вечера в девять. В восемь его нет. Справляюсь — поезд проследовал вовремя. Половина девятого. Без четверти. Наконец, без пяти. Значит, что-то случилось, надо отменять вечер. Обдумываю, как предупредить публику, — и тут он входит. В руках пачка газет и журналов.

— Считайте — приехал вовремя, — успокаивает он меня. — Двадцать минут сдавал вещи на хранение. Десять минут договаривался о плацкарте в Ленинград. Остальное время шагал с вокзала до города, включая сюда, конечно, и гулянье по главной улице. Ведь я вас не подвел? Пришел минута в минуту. Значит, никаких претензий.

— Зашли бы и предупредили, тем более проходили мимо.

— Я человек скромный. Что я буду лезть публике на глаза? И вам мешать.

— Но ведь я волновался.

— Это будет компенсировано. И я уверен, что удовлетворю вас полностью. Сделайте еще скидку на луну. Я шел медленно-медленно. По дороге настроился на луну. Прошел какую-то белую церковь и читал вслух про себя:

Луна спокойно с высоты Над Белой Церковью сияет…

Вечер он провел в приподнятом настроении. Прогулка и луна сделали свое. Но помимо этого, в его голосе, в глазах было что-то праздничное.

В перерыве он поделился со мной:

— Только что вышел пятый том[23] полного собрания моих сочинений. (*Хотя оно было далеко не полным. — П. Л.)* Вы понимаете, что это значит? Наконец-то печатают полное собрание! Почти классик! Представляете себе, штук десять таких книжек, ведь это — не фунт изюму. Приятно полистать такую книжицу — пусть люди видят. Ну, довольны «компенсацией»?

Обещаю вам в Москве дать этот самый том.

Через несколько дней Владимир Владимирович вручил мне обещанную «компенсацию» с весьма пространной и трогательной надписью: здесь было упомянуто много проезженных нами городов, занявших почти весь титульный лист, посредине которого он нарисовал цветочек.

— О чем говорит этот цветочек? — спросил я.

— Цветочки всегда говорят о хорошем и симпатичном, цветочек закрепляет, обещает и обобщает, — был ответ.

После вечера идем на вокзал — под той же луной. — Она ждала меня, — острит Маяковский, — пока я выступал. Я с ней так договорился.

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ДЕТСКОГО САДА

— А не провалимся летом?

Я настаиваю:

— Владимир — симпатичный город и отнимет у нас всего один день.

Как условились, в семь утра я зашел за Маяковским на Лубянский проезд[24]. Он только что проснулся. Одевается быстро. До отправления поезда — тридцать пять минут. Все, кажется, готово, можно ехать. Не тут-то было. Он приносит из кухни щетку и начинает подметать комнату. Я нервничаю. А ему как раз понадобилась какая-то веревочка.

— У нас, интеллигентов, никогда ничего нет. А вот рядом со мной живет рабочий Гаврилов — у него всегда все есть. Гвоздь, молоток, веревка. Они все уже встали.

Он сбегал к соседям и возвратился с веревкой.

— Пока не уберу, не уйду. Успеем. Спокойно! А если вы так спешите и боитесь опоздать, бегите к трамваю. Кстати, и мне займете место, а я скоро подойду.

Прибрав постель и комнату, он сбегает с четвертого этажа, сотрясая лестницу. На Мясницкой вскакиваем в первый попавшийся трамвай. Проехали Мясницкие ворота. Такси так рано еще нет. У Орликова на ходу вскакиваем в трамвай «Б». На Курском стрелка часов почти на восьми. Со всех ног — к поезду. Он стоит в стороне, у Нижегородской платформы, метрах в ста от нас. «Наступаем ему на хвост», вцепившись в последний вагон. Маяковский, еще не отдышавшись, с палкой в руке зашагал по вагонам, внимательно вглядываясь в пассажиров, как бы знакомясь с ними. Первый вагон, второй, третий… Наконец в пятом остановился.

В тридцати километрах от Владимира, на станции Ундол, в вагон вошла миловидная девушка и села в первое купе, рядом с нами.

Маяковский заговорил с ней: откуда, куда едет, где работает или учится.

— Я окончила в прошлом году педучилище, а теперь работаю воспитательницей детского сада при фабрике имени Лакина, в полутора километрах от станции Ундол. Еду во Владимир, к старшей сестре, на выходной.

Владимир Владимирович интересуется, какова программа в

педучилище, кого оно готовит, какие книги читала наша спутница.

— Я окончила дошкольное отделение.

Она назвала прочитанные ею книги, в основном — русских классиков. Западной литературы почти не знала.

На вопрос Маяковского, кто из современных поэтов ей больше всего нравится, ответила:

— Есенин.

Затронули методы преподавания в детсаду, сущность самой работы, Владимир Владимирович спросил, читает ли она детям сказки и стихи.

— Конечно!

— Маршака и Чуковского читаете?

— Читаю.

— А Маяковского?

— Такого не знаю.

— Очень жаль. Хороший поэт и пишет хорошие детские стихи. В них все просто и ясно. Рекомендую вам почитать Маяковского. Приедете во Владимир, я постараюсь познакомить вас с ним. Он как раз, по-моему, должен быть сейчас там. Приходите в центральный клуб, он, кажется, сегодня выступает. Павел Ильич, вы не могли бы составить товарищу протекцию, ведь у вас есть знакомый?

Я с трудом сдерживал смех:

— Конечно, я сейчас вам дам записку к завклубом. Да я и сам собираюсь пойти на этот вечер. Значит, встретимся.

Девушка пришла в клуб и привела сестру. Увидев меня в коридоре, она обрадовалась:

— А Маяковский, наверно, знаменитость, раз такие большие афиши! И крупные буквы.

Среди стихов, которые читал в тот вечер поэт, были и детские (я успел сообщить ему, что наша спутница и ее сестра в зале).

Если ты порвал подряд книжицу и мячик, октябрята говорят: плоховатый мальчик. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут: он хороший мальчик.

В антракте наша новая знакомая явилась совсем смущенная — теперь она знала, что в вагоне встретилась с Маяковским.

Я полагаю, что с той поры в детском саду зазвучали детские стихи поэта.

До отъезда — два с лишним часа. Маяковский предложил погулять. Сестры пошли с нами. Сперва в Липки, а затем на Рождественский вал. Вид на Клязьму с горы в лунный вечер расположил Маяковского: он что-то напевал, читал стихи.

В вагоне Маяковский сказал:

— Интересная девушка. И уже учительница… Жаль только, что еще малоопытна, наивной выглядит[25]. Неправильно думают, что в детском саду легче преподавать, чем в средней школе. Наоборот! Там квалификация педагога должна быть ничуть не ниже. А может быть, даже и выше.

«ХОРОШО!»

Вернувшись из Кисловодска, наутро я сразу же отправился к Маяковскому. Булька встретил меня свирепым лаем. Хозяин остановил его:

— Булька! На кого ты лаешь? Надо же соображать! Ты ведь человек неглупый. Пора привыкнуть.

Маяковский — еще в пижаме. Предлагает с ним позавтракать. Я отказываюсь:

— Спасибо, успел уже дома.

— Да, это только поэты поздно завтракают, они работают, так сказать, в ночной смене, — шутит Владимир Владимирович.

Нам нужно было обсудить очередные маршруты, поговорить о ближайшем его выступлении в Москве. Я должен получить от него текст афиши и объяснительную записку к ней с расшифровкой тезисов.

Просмотрев наспех, за завтраком, ворох газет и журналов, Маяковский сказал:

— А теперь перейдем к делу. Начнем литературный сезон с октябрьской поэмы «Хорошо!». Как вы думаете, придет народ? Ведь это здорово! Целый вечер читать только одну вещь. До сих пор, по-моему, никто из поэтов этого не пробовал.

— Но вам будет непривычно, — заметил я. — Ведь всегда читаете наизусть, а тут придется с книжкой в руках…

— Ошибаетесь, я буду читать всю наизусть.

— Как же вы успеете выучить?

— Когда я пишу, я уже почти все знаю. Еще немного проверю, и, думаю, пойдет гладко. Главное, чтобы был народ. Боюсь еще, чтобы вечер не оказался скучным — ведь это так необычно. Но обязательно его проведем до Октябрьской годовщины в Москве и в Ленинграде. А сейчас надо расписать афишу, сделать ее праздничной, красивой…

На обыкновенном листе бумаги Владимир Владимирович красным карандашом нарисовал сначала круг. И простым черным карандашом крупно вписал в него: «Хорошо!» Потом над кругом появилось слово: «Октябрьская» (вразрядку) и под ним: «поэма». Сверху проставил: «Чтение» и «новая вещь». Но сейчас же эти две строчки вычеркнул. Затем написал: «Программа в двух отделениях, ответы на записки».

Разделив лист пополам римскими I и II, он сочинял заголовки, помечая их арабскими цифрами. В самой поэме, как известно, заголовков нет, главы обозначены порядковой

нумерацией, от первой до девятнадцатой. В афишу вошли заголовки — отдельные строки поэмы. Их оказалось двадцать два, по одиннадцать с каждой стороны афиши, то есть в каждом из двух намеченных отделений. Третье отделение — ответы на записки.

Поражала быстрота, с какой Маяковский придумывал и писал, выделяя «ударные» места поэмы.

Когда афиша сдавалась в печать, ее отказывались визировать до изъятия двух заголовков. «Мать их за ноги» и «В уборную иду на Ярославский». Я сказал: «Ведь так в книге!» — «В книге для читателя — можно, а в рекламе для улицы — нельзя», — возражали мне. Удалось отстоять только второй заголовок, а первый, с ведома автора, я заменил словом «Бей» — из той же главы.

Девятую главу поэт обозначил кратко: «Дым отечества». Пятая обозначена двумя заголовками: «Извольте понюхать» и «Я, товарищи, из военной бюры». Седьмая — даже тремя: «Здравствуйте, Александр Блок», «Жир ёжь страх плах!» и «Господин помещичек, собирайте вещи-ка!» Если бы не ограничения, диктуемые спецификой афиши — ее должен прочитать проходящий мимо, поэтому она не может быть перегружена текстом, — поэт включил бы в афишу, вероятно, еще десяток заголовков.

Еще до отъезда на юг Маяковский как-то спросил меня:

— Вы не будете возражать против того, что я вставил вас в поэму?[26]

— Каким образом я попал туда?

— Помните ваш рассказ о бегстве Врангеля? Не зря я вас тогда мучил. Начало главы такое:

Мне рассказывал грустный еврей Павел Ильич Лавут…

Я перебил его:

— Почему «грустный»? Ну, еврей — пожалуйста. Но я возражаю против «грустного».

Меня поддержали присутствовавшие при этом разговоре супруги Брик.

Маяковский начал тут же подбирать другое прилагательное. В окончательном варианте значится «тихий».

Он прочел отрывок из шестнадцатой главы. Я вспомнил о наших беседах.

А теперь, намечая темы для афиши, он снова заговорил о 16-й главе:

- «Сперли казну и удрали, сволочи» — вы помните, это из вашего рассказа?

…В дорожной обстановке я иногда рассказывал Владимиру

Владимировичу о своих «молодых» годах, которые прошли на драматической сцене. Я вспоминал об Аркадии Аверченко, Леониде Собинове, Власе Дорошевиче и о многих других, с кем довелось в ту пору познакомиться.

Однажды я рассказал, как отвозил своего друга Володю Самодурова, большевика-подпольщика, заболевшего сыпняком, из Александровска в Крым, куда его направила партия. В Крыму я застрял, устроился в театре.

Описывая жизнь при белых, я старался не упустить ни одной подробности, отвечая на многочисленные вопросы Владимира Владимировича. Когда же речь зашла непосредственно о бегстве белых, в его руке появилась записная книжка. Однако и тогда эта деталь не объяснила мне истинных целей поэта. А в итоге — большая глава поэмы вобрала мой рассказ. Конечно, в поэму вошло далеко не все из моего длиннющего рассказа, но именно его творческое «отсеивание» дает представление о напряженной работе поэта, в частности о работе над поэмой «Хорошо!».

Итак, Севастополь 1920 года…

Весной на площади у Графской пристани, возле памятника Нахимову, я наблюдал церемонию вручения скипетра Врангелю. Народу было маловато. Отслужили молебен, офицеры троекратно проорали «ура», и архиепископ закончил свою речь так: «Петр — по-гречески камень. Мы не сомневаемся в том, что барон Петр Николаевич Врангель оправдает свое имя и недалек час, когда Россия станет единой и неделимой».

Маяковский вставил:

— Камень был из песка… из камня посыпался песочек.

— Да, — добавил я, — помпы не получилось. Все это торжество производило впечатление авантюры.

…Севастопольский рейд часто навещали иностранные суда, подвозившие врангелевцам оружие и продовольствие. Кого тут только не было: англичане и американцы, французы и греки, турки и итальянцы…

В моем рассказе не раз повторялось морское слово «узел». Маяковский спросил, что оно значит. Я пояснил:

— Узлом определяют скорость корабля. Один узел — это одна морская миля в час.

Вероятно, он хотел проверить себя — и меня заодно.

…Готовясь к эвакуации, интервенты вовсю занимались спекуляцией. Офицеры и маклеры шныряли в поисках выгодных сделок. Их интересовало все то, что можно сбыть и что можно вывезти. Очень ценились револьверы (особенно «кольты»), домашняя утварь и, разумеется, бриллианты. На военные корабли грузили даже рояли.

И как гром среди ясного неба: Красная Армия форсировала Перекоп. В Севастополе паника. Она разрасталась с каждым часом.

Маяковский обобщил эти детали, отнеся их не только к интервентам, но и непосредственно к «драпавшим».

У кого — канарейка, у кого роялина, — кто со шкафом, кто — с утюгом. Кадеты — на что уж люди лояльные — толкались локтями, крыли матюгом.

…Я с любопытством и со злорадством наблюдал эту картину. Бродя у южной бухты, останавливался у каждого парохода. Буквально с боем брались на них места. Я видел, как солдат сбил с трапа в море офицера. Все обезумели.

На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня, мотня, — бегут добровольцы, задрав порточки, — чистая публика и солдатня.

…Я рассказывал, что среди убегавших были и такие, которые действовали бессознательно или были втянуты обстоятельствами. Все вокруг охвачено паникой. Запомнилась средних лет женщина, одиноко стоявшая вдали от причала, у Приморского бульвара, окруженная огромными, в человеческий рост, узлами. Кто она? На что надеялась? Вероятно, на то, что ее подберет какая-нибудь шхуна. Она кричала, звала. Никто не обратил внимания. Это было в четвертом часу дня, когда последние суда покидали гавань. А женщина в отчаянии визжала.

Этот эпизод имел в виду Маяковский, говоря о 16-й главе:

…«Аспиды, сперли казну и удрали, сволочи».

…Отсюда же, с Приморского, я наблюдал, как на фоне уходящих судов приближались к рейду два корабля — американские миноносцы. Они пришли, как говорят, к шапочному разбору и, постояв минут десять, завершили картину эвакуации тем, что, развернувшись, пошли рядышком, курсом на Босфор.

— Пришли, понюхали и пошли прочь — как крысы в гоголевском «Ревизоре», — сказал я.

Маяковский улыбнулся.

15 ноября, в первом часу дня, только я вышел из своей квартиры, вижу — на противоположной стороне Большой Морской идет Врангель в направлении Нахимовского проспекта. Вначале я даже усомнился: он ли это? Почему без свиты? Но, вглядевшись, я убедился, что спереди и сзади, на почтительном расстоянии, стараясь быть незамеченной, следует его охрана. Со мной был мальчик лет двенадцати. Вместе с ним мы прошли весь Нахимовский проспект, очутились у Графской пристани и задержались возле одной из колонн. Врангель спустился по

лестнице… У причала ждала моторная лодка. Он быстро сел в нее, а за ним еще двое. Перекрестился. Поцеловал пирс… И лодка набрала скорость. Она мчалась к яхте «Алмаз».

Маяковский допытывался:

— Откуда он шел, как по-вашему?

— Из штаба, очевидно, так как штаб находился неподалеку.

— Почему пешком? Я думаю, что он пожалел свою роскошную машину и отправил ее загодя на грузовом пароходе. Да и прогуляться для пропаганды, так сказать, неплохо: смотрите, мол, мы еще уверены в своих силах! Что вы знаете об «Алмазе»?

— Яхта эта была, говорят, построена за границей для Николая Второго, плававшего на ней по Северному морю.

Владимир Владимирович что-то помечал в записной книжке.

Это было привычно (с записными книжками он не расставался), и я не догадывался, что эти его записи лягут потом строками в поэму:

«Только что вышел я из дверей, вижу — они плывут…»

В течение нескольких месяцев Маяковский заставлял меня вновь и вновь возвращаться к рассказу. Он выспрашивал различные подробности, не давая, однако, понять, для чего они ему нужны. Мне казалось, что он просто интересуется этими событиями, быть может, сравнивает отдельные детали с тем, что ему приходилось слышать от других. При любознательности Маяковского настойчивость расспросов, тем более отделенных друг от друга немалыми временными интервалами, меня ничуть не удивляла.

Работая над поэмой, он рассказывал мне содержание отдельных глав, читал отрывки, желая, должно быть, проверить реакцию будущего читателя, слушателя. Но о «врангелевской» главе не было речи. Вероятно, он не хотел «спугнуть» рассказчика.

Когда в августе мы направились в Крым, Маяковский в коридоре вагона огорошил меня вопросом:

— Вы не помните, на Врангеле была черная черкеска или белая?

Я растерялся: что же, он меня проверяет? Я было даже обиделся.

— Не помню точно, — ответил я нехотя. — Кажется, черная. И ушел в купе. Владимир Владимирович за мной.

— Не дуйтесь, — сказал он мягко. — Я просто так спросил.

Думаю, что в эти дни окончательно оттачивалась шестнадцатая глава. Если бы я засвидетельствовал, что Врангель был не в черной черкеске, а в белой, то в поэме, надо полагать, осталась бы все равно черная — не только из-за переклички двух

«чер» (черная черкеска), а потому, что именно этот штрих хорошо вяжется со всем обликом «черного барона».

Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске.

…Утром следующего дня, после бегства врангелевцев из Севастополя, в город вступила Красная Армия. Маяковский требовал подробностей, которые я мало-помалу припоминал.

Впоследствии, читая эту главу, поэт рассказывал слушателям ее происхождение:

— У нас часто пишут, особенно молодые товарищи, о подвигах в гражданскую войну, а они в те годы еще под стол пешком ходили. Писать надо только о том, что знаешь, или делать такие вещи в порядке личных ассоциаций. Этот рассказ моего знакомого проверялся мной несколько раз — на случай ошибок или увлечений рассказчика — и моих тоже. В проверенном виде он положен в основу главы. Я считаю такой метод правильным. Я беру конкретное лицо и нарочно упоминаю фамилию и даже имя и отчество. Как я объясняю, почему «тихий»? Во-первых, чтобы было доверие к автору: автор знает, о ком говорит. Сперва я написал «грустный», но товарищи отговорили: «Он не грустный». Пробовал и «знакомый». Но это ни к чему не обязывает, знакомых много, и разных. «Тихий» — не значит, что он разговаривает шепотом. Но по сравнению со мной, скажем, он тихий.

По рядам прокатывался смех. И Маяковский добавлял:

— Вот он сидит в зале — посмотрите и убедитесь! — показывал на меня (так бывало не раз).

При этих словах я обычно вылетал из зала, переходя дослушивать за кулисы, а потом предъявлял «претензию».

Всю поэму Маяковский читал на людях сравнительно редко — ведь не назовешь публичными чтения поэмы у него на квартире (дважды). Упомяну лишь такие вечера, как 18 октября 1927 года в Красном зале Московского комитета партии для актива, потом 20 октября и 15 ноября в Московском Политехническом музее, 26 октября в зале Ленинградской капеллы и еще несколько чтений в Москве. Это, пожалуй, все.

Придя в Политехнический, он прежде всего констатировал:

— Народ пришел полностью. Значит, интересуются.

С трибуны он заявил:

— Товарищи! Я прочитаю вам свою новую поэму «Хорошо!». Хотя эта вещь сделана к десятилетию Октябрьской революции, но мне бы хотелось, чтобы она не была временным явлением, а имела бы права гражданства на долгие и долгие годы. Я считаю, к

какой бы дате ни была написана вещь, она должна быть интересна и в дальнейшем, а тем более — такая большая вещь на такую большую, волнующую тему.

Он разбил чтение на две части, с перерывом посредине. Окончив поэму, сделал второй перерыв и затем отвечал на записки.

Вечер затянулся до полуночи.

В других случаях, когда на афише значилось чтение поэмы, она исполнялась автором с купюрами, а то просто читалось лишь несколько глав, которые давали представление о поэме. В оставшееся время Маяковский читал другие стихи и тем самым шире знакомил слушателей со своим творчеством, с разнообразием жанров. Именно этот принцип был основой его программы.

Когда поэма читалась с сокращениями, то чаще всего включались 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16, 17 и 19-я главы.

Если среди множества других стихов звучали две-три главы из «Хорошо!», то, как правило, они выбирались из шести: 3, 4, 6, 7, 17 и 19-я.

В отрывках поэму слушали многие города: Москва — свыше двадцати раз, Ленинград — около десяти раз, Баку, Ялта — по семь раз, Ростов и Тифлис — по четыре, Одесса, Киев, Днепропетровск, Свердловск, Вятка — по три, Харьков, Пермь, Казань, Новочеркасск, Симферополь — по два, Запорожье, Таганрог, Армавир, Бердичев, Житомир, Винница, Севастополь, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск; в Крыму — Ялта, Алушта, Гурзуф, Симеиз, Мисхор; на Кавказе — Сочи, Гагра, Хоста — по одному разу.

Владимир Владимирович радовался тому, как принял поэму московский партактив. Успешно прошел вечер и в Политехническом. Задолго до вечера Маяковский беспокоился, дойдет ли юмор, например, таких строк.

— Керенский где-то? — Он? За казаками. — И снова молча. И только под вечер: — Где Прокопович? — Нет Прокоповича.

Все доходило. Аудитория понимала и принимала поэму: ее героику и юмор, ее лирические отступления, призывные лозунги и, наконец, бытовые сцены. В авторском исполнении поэма звучала особенно выразительно.

Просто, строго и вместе с тем широко, вдохновенно читал Маяковский первые строки «Хорошо!»:

Время — вещь необычайно длинная, — были времена — прошли былинные.

Потом — переход к едва заметной напевности:

Это время гудит телеграфной струной, это сердце с правдой

вдвоем. Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем.

В первой половине второй главы, приглушенно-отдаленным голосом, отрывисто и напряженно выделялась каждая строка:

«Кончайте войну! Довольно! Будет! В этом голодном году — невмоготу».

Последнее слово как бы «отбрасывалось».

Другую строфу поэт «мелодировал» на мотив «Марсельезы», пародийно подчеркивая образ «Керенского-Бонапарта».

Забывши и классы и партии, идет на дежурную речь. Глаза у него бонапартьи и цвета защитного френч.

Вся четвертая глава проходила под дружный хохот аудитории. За «усастого няня» Милюкова Маяковский говорил густым басом, а за Кускову — срывающимся контральто. Он то понижал голос до самых низких нот, то поднимал его до резкого писка:

Ах, няня-няня! няня! Ах! — и произносил с утрированной четкостью, протяжно завывая последнее «ня», с глубоким вздохом восклицая: «Ах!» Можно сказать, он просто играл эти места:

«Саша! — Душка!» — когда говорил в нос, с нарочито поддельной «актерской страстью».

Читая почти всю главу в гротесковых, пародийных тонах, он в конце обращался интимно к публике, после короткой паузы, слегка скандируя:

Быть может, на брегах Невы подобных дам видали вы?

Совсем другим тоном произносил поэт слова: «я, товарищи, — из военной бюры. Кончили заседание — тока-тока…» — сдержанным шепотом, чуть хрипловато.

При чтении шестой главы подчеркивался ее героический пафос. Тут почти не было игры. Шел естественный, полный значимости рассказ о всемирно-историческом событии. Лишь иногда, не нарушая основного стиля, поэт выделял отдельные строки.

Те из чтецов, которые, «играя» чуть не каждую строку, ссылаются на авторскую манеру исполнения, неверно осведомлены. Игровой прием для Маяковского был лишь одним из многих, и поэт им не злоупотреблял.

Одновременно хочу подчеркнуть, что для Маяковского характерен медленный темп, благодаря которому слушатель и ощущал наполненность каждой строки, каждого образа. Это чувствовалось, например, уже с первых слов шестой главы:

Дул, как всегда, октябрь ветрами…

Тут же, в чтении, явственно слышался напев «Степана Разина», когда поэт доходил до следующей строфы: Под мостом

Нева-река, по Неве плывут кронштадтцы… От винтовок говорка скоро Зимнему шататься.

И знакомый всем напев волжской песни как бы приближал историческое прошлое и связывал события на Неве с другими, более давними, происходившими на берегах могучей русской реки.

Еще напряженнее следили слушатели за ходом повествования после того, как та же мелодия снова возникала в грозном требовании народа: Лучше власть добром оставь, никуда тебе не деться! Ото всех идут застав к Зимнему красногвардейцы.

Завершался поэтический рассказ об исторических днях «Интернационалом».

Впервые вместо «и это будет…» — пели: «и это есть наш последний…». Маяковский выделял здесь слово «есть», и мелодия «Интернационала» слышалась в этом речитативе весьма четко.

Строки об Александре Блоке он произносил с едва заметной иронией: Но Блоку Христос являться не стал.

— Это правда, что вы ночью встретили Блока? — спросил я как-то. — Или сочинили?

— Наивный человек — такого не сочинишь, — сказал Маяковский.

И я понял тогда, что ответ касается не только данного эпизода. Он имел принципиальное значение и вытекал из творческого метода поэта. Жизнь питала его поэзию. И он включал в нее реальные факты действительности.

В авторской трактовке блоковской главы чувствовалось большое уважение к поэту: У Блока тоска у глаз. Живые, с песней вместо Христа, люди из-за угла.

Затем шел резкий переход к строкам-воззваниям с их близкой к песенной форме. Он их и на самом деле напевал. Мелодия была выражена отчетливо и звучала так: […]. Песню прерывали остро ритмованные рефрены, завершавшие каждую из ее трех строф. Они скандировались быстро и резко: Вверх — флаг! Рвань — встань! Враг — ляг! День — дрянь.

Радостно и уверенно звучащее четверостишие (у Маяковского- 8 строк): Эта песня, перепетая по-своему, доходила до глухих крестьян — и вставали села, содрогая воем, по дороге топоры крестя, — сменялось мелодией, напоминавшей лезгинку, прыгающей со слога на слог, с утрированно растянутыми «мещика» — «вещи-ка» — до внезапного громогласного вторжения: «Эх, яблочко, цвета ясного. Бей справа белаво, слева краснова».

Этой транскрипции соответствовало и подчеркнутое произношение. В несколько ранее идущем слове «петух» «е»

нарочито заменялось «я».

Финал седьмой главы поэт читал замедленно, чеканя каждое слово: Этот вихрь, от мысли до курка, и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды.

Есть еще в поэме песни: в 10-й главе — «Итс э лонг уэй ту Типерери…», «Янки дудль кип об…», в 11-й — «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне!», в 15-й — «Мы только мошки…» (на мотив «Цыпленок жареный»), в 16-й использован «Марш Буденного» (музыка Дм. Покрасса, слова Д'Актиля), «И с нами Ворошилов, первый красный офицер», в 18-й — «Тише, товарищи, спите…» (Здесь — напев песни «Спите, орлы боевые», который повторялся трижды, каждый раз с иной эмоциональной окраской.)

Слушатели особенно живо реагировали на лирическое признание: Моя милиция меня бережет. Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо. Очень хорошо.

Этот отрывок, как, впрочем, и вся последняя глава, в устах автора звучал торжественно и вместе с тем мягко, задушевно, с нотками легкой, добродушной иронии.

Моя попытка рассказать о том, как читал «Хорошо!» сам Маяковский, не имеет, разумеется, своей целью навязать исполнителям его поэзии универсально-одинаковую манеру. Нет! Я хочу лишь помочь им познакомиться с авторской трактовкой, как она мне запомнилась. Это, надеюсь, убережет многих из них от ложных шагов.

Я слышал поэму «Хорошо!» в авторском чтении, в отрывках и полностью, чуть ли не сто раз. С тех пор прошло полвека. Но по-прежнему, как живой, встает поэт передо мной. Рука поднята вверх. И я слышу его бархатистый бас, который невозможно спутать ни с каким другим голосом:

Радость прет. Не для вас уделить ли нам?! Жизнь прекрасна и удивительна. Лет до ста расти нам без старости. Год от года расти нашей бодрости. Славьте, молот и стих, землю молодости.

В ЛЕНИНГРАДЕ

Жизнь Маяковского накрепко связана с Петроградом — Ленинградом.

Он любил этот город своей молодости, часто навещал его, выступал во дворцах культуры, в вузах. Проезжая как-то по Литейному, он указал на дом по улице Жуковского, в котором когда-то жил.

Как всегда, он и на этот раз, в октябре 1927 года, приехав в Ленинград, остановился в «Европейской». Ему отвели роскошные апартаменты. Проведя в них одну ночь, он попросил перевести в освободившийся, свой излюбленный 25-й номер — большой и просто обставленный.

Через шесть дней после чтения «Хорошо!» москвичам он повторил поэму в зале Ленинградской академической капеллы.

— Хотя публика здесь и скучней московской, академичнее, не дерется и почти не ругается, но поэму приняли хорошо, я на них не в обиде, — сказал он после выступления.

И следом — день за днем — вечера в клубах. Первый, по просьбе Маяковского, на Путиловском заводе.

Рабочий клуб помещался тогда в бывшей церкви. Но из окон виделись уже контуры будущего Дворца культуры.

Владимир Владимирович произнес короткое вступительное слово и перешел к стихам и отрывкам из «Хорошо!». Сразу же установился контакт с аудиторией.

Но и здесь кто-то повторил уже не раз слышанное: «Когда сам читаешь — непонятно, когда читает Маяковский — почти все понятно».

Из рядов раздался женский голос:

— А вас никто в библиотеке не спрашивает и никто не читает, потому что неинтересно!

Маяковский провел голосование. Он попросил поднять руки: тех, кому его стихи совершенно непонятны. Поднялась одна рука — рука библиотекарши.

Густой бас ядовито заметил:

— Покупала бы — читали бы.

Маяковский к ней:

— А вы рекомендуете мои книги читателям?

— Зачем? Кому нравится, тот сам берет.

Бас запротестовал:

— Нет, другие она небось предлагает. Тогда Маяковский снова:

— Она сама не читает и не выполняет своих прямых обязанностей — пропагандировать книгу. А больше всех артачится. С такими библиотекарями мы далеко не уедем.

Посрамление библиотекарши еще больше сблизило аудиторию с поэтом. Слушатели стали приглашать его к себе в следующий приезд.

— Тем более приеду, если примете меня в своем новом дворце.

В 1928 году он выступал перед путиловцами в малом зале Московско-Нарвского дворца культуры, а через год — в большом театральном зале на две тысячи мест.

Ему приятно было встретиться со «старыми знакомыми», которые «привыкли» к его поэзии.

В 1929 году на вечер Маяковского пришли не только путиловцы, но и рабочие близлежащих заводов. И несмотря на необычный — дневной час, они почти целиком заполнили зал.

— Смотрите, — сказал он мне, — с каждым годом все больше и больше у меня слушателей, на глазах растет их поэтическая квалификация.

Владимир Владимирович часто выступал в ленинградских вузах. Он читал «Хорошо!» в Военно-политической академии и университете, два раза, по просьбе писателей и журналистов, — в Доме печати. Одно из них прошло довольно бурно. «Красная газета» писала:

«В Доме печати позавчера мы были свидетелями позорнейшего, в сущности говоря, явления. Литературная обывательщина, некогда прикрывавшаяся модой к Маяковскому, нынче резко повернула свой руль — и большой поэт, приехавший в город революции читать свою поэму о великой годовщине, — был встречен более чем сдержанно. Но сдержанность — это еще куда бы ни шло. Хуже, что литературная обывательщина под конец вечера совершенно рассупонилась и публично хамила. Маяковскому подавались записки о гонораре, о том, что, мол-де, его поэма написана „неискренне“, и даже одна записка явилась обыкновенным хулиганством: „А скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено?“ Обывательщина всегда остается обывательщиной. Против этого не возразишь. Но удивительно было все-таки, что ареной для этой обывательщины явился Дом печати».

«Обывательщина», о которой писалось в отчете, отдавала сильным антисоветским душком.

Второй вечер в Доме печати — «Даешь изящную жизнь». (Название его повторяло заголовок стихотворения, но там — «изячную».)

Стенограммы этого разговора-доклада, как, впрочем, и

других вечеров, к сожалению, не было.

Я как-то предложил Владимиру Владимировичу застенографировать выступление. Он возразил: «Это никому не нужно, а мне тем более…»

Приходится сейчас довольствоваться моими скромными записями и тем, что удержала память.

В афише, среди тезисов, значилось: «Черемухи и луны со всех сторон».

О чем шла речь? О книгах: «Без черемухи» — Пантелеймона Романова и «Луна с правой стороны, или необыкновенная любовь» — Сергея Малашкина, Маяковский резко критиковал их, как пошлые вещи.

Другой тезис — «Новый жирок».

— У нас появился излишний жирок, — говорил Маяковский, — Возрождаются старые бытовые навыки.

И он читал стихотворение «Стабилизация быта», которое начинается так:

После боев и голодных пыток отрос на животике солидный жирок. Жирок заливает щелочки быта и застывает, тих и широк.

Близки по мысли еще два тезиса (Маяковский в афише называл их темами): «Эпоха фрака» и «Брюки дудочкой»:

Свежим ветерочком в республику вея, звездой сияя из мрака, товарищ Гольцман из «Москвошвея» обещает «эпоху фрака». Но, от смокингов и фраков оберегая охотников (не попался на буржуазную удочку!), восхваляет комсомолец товарищ Сотников толстовку и брючки «дудочку».

И здесь же Маяковский добавлял:

— Отвечая на анкету журнала «Экран» о нашей моде и ее будущем, заведующий плановым отделом «Москвошвея» товарищ Гольцман говорил: «Мы идем… прямо в объятия смокингов и фраков».

Тезис «Упраздненные пуговицы» раскрывался так:

— Возьмите две пуговицы на спине вашего сюртука. Вы тщательно следите за ними. Без этих пуговиц человек не берет у портного сюртука. А по существу, зачем они? Кому нужны? Разве только затем, чтобы было чему оторваться. Когда-то, когда наши предки уйму времени проводили на лошадях, они пристегивали к ним путающиеся фалды. Теперь же все мчатся в трамваях и машинах — кому нужны эти пуговицы?

Откуда в афише «Озерзамок с кулуарами»? Слова эти взяты из «Поэзоконцерта» Игоря Северянина. Там вначале: В Академии поэзии — в озерзамке беломраморном Ежегодно мая первого фиолетовый концерт. — И в конце: Гости ходят кулуарами, возлежат на софном бархате, Пьют вино, вдыхают лилии, цепят

звенья пахитос.

Отсюда, конечно, ироническое: «Озерзамок с кулуарами».

Из «Грез» Надсона: «А ночью дан был бал» и «… в честь юной королевы» получился тезис: «Бал в честь юной королевы».

В афишу была включена последняя строка броского четверостишия Саши Черного («Отъезд петербуржца»):

Злобно содрогаюсь в спазме эстетизма
И иду к корзине складывать багаж:
Белая жилетка, Бальмонт, шипр и клизма,
Желтые ботинки, Брюсов и бандаж.

(Напомню, что Маяковский очень ценил талант Саши Черного.)

Владимир Владимирович говорил:

— Еще крепок кое-где мещанский быт. Музторг издает романс: «А сердце-то в партию тянет…» Если кто не верит, что такой существует, убедитесь лично. Продается на Неглинной в музыкальном магазине. Там есть такие слова:

У партийца Епишки партийные книжки, на плечиках френчик, язык как бубенчик.

«Изящная жизнь» и «изящная литература» поставляются нам с Запада буржуазными писателями, художниками, поэтами. Это приспособляются те, кто привык приглядываться к плечикам, не блестят ли на них эполетики. Поэты тоже не отстают. Они также стремятся вмешаться в жизнь.

И заканчивал поэт фразой, представлявшей собой почти дословно афишный тезис:

— Пролетарий сам знает, что для него изящно и что красиво!

Один крестьянский поэт напечатал в журнале небезызвестную былину, где Владимир Ильич, изображенный богатырем, побеждает «Сашку Керенского» и возвращается:

Со добычею богатою
Да со славою.

А к нему приезжает: «Алеша Рыков со товарищи».

Так выполняют «заказ» некоторые старые поэты-специалисты.

Надо опасаться тенденции возрождения символизма, критически осваивать старую культуру, надо бороться с бытом, навеянным эстетами всех родов.

Перед лицом всего мира мы строим новое, социалистическое государство, но мы должны создать и новый оригинальный быт, без унизительного подражания заграничным образцам.

Рабочий по имени Борис читает французские книги. Его не устраивает свое собственное имя, и он срочно переименовывается в Боба.

Девушка, работавшая на фабрике, отравилась из-за того, что

потеряла (или, точнее, у нее украли) шелковую юбку, без которой она не мыслила своего существования. Это говорит о том, что мещанство заедает, оно просачивается как в литературную, так и в рабочую среду.

Пролетариат должен стремиться создать свою здоровую эстетику, и революционные художники, порвавшие с прошлым бытом, должны помогать созданию новой пролетарской красоты, А поэт Федор Сологуб после июльских событий 1917 года на собрании писателей внес такое предложение: «Революции разрушают памятники искусств. Надо запретить устраивать революции в городах, богатых памятниками, например в Петербурге. Пускай воюют где-нибудь за чертой и только победители входят в город».

Потом шли новые стихи. Я говорил уже, что часто одна и та же вещь называлась по-разному: в афише, с эстрады и в книге. Так и здесь, например, стихотворение «Чудеса» объявлялось с эстрады «Ливадия», а в афише «Мишка, как тебе нравится эта рифмишка?»; «Венера Милосская и Вячеслав Полонский» — в афише «Разговор с Венерой Милосской о Вячеславе Полонском»; «Даешь изячную жизнь» — в афише «Даже мерин сивый»; «Канцелярские привычки» — в афише «Мусье Гога»; «За что боролись?» — в афише «Слух идет, бессмысленен и гадок» и т. д.

Даже одна и та же тема по-разному выглядела в афишах. Например, «Даешь изячную жизнь» имеет четыре варианта названий, «Мое открытие Америки» — три варианта. Маяковский изобретал все новые и новые тезисы — весьма острые и разнообразные.

Зная и любя Ленинград, Владимир Владимирович с восторгом рассказывал о достопримечательностях этого города. Восторги Маяковского в первую очередь относились к архитектурному ансамблю Александрийского театра[27]. Проезжая по площади Зимнего дворца, он буквально упивался:

— Много видел городов в мире, но такой красивой площади не знаю. Она еще потому приятна, что не заграничная, а — своя.

Однажды на извозчике мы направлялись из «Европейской» в Дом просвещения на Мойку, мимо гостиницы «Англетер», где повесился Есенин.

Владимир Владимирович насупился, просил объехать:

— Не могу мимо «Англетера». — Тут же стал вспоминать причуды Есенина. — А жалко его!

В Колонном зале Дома просвещения Маяковский говорил о месте поэзии в рабочем строю, о воспитании хорошего вкуса у читателей. Он сослался на такой пример:

— Один мой знакомый рассказывал, что лет пять-шесть назад

его младший брат читал неприятным хриплым басом наизусть «150000000». Он умолял брата прекратить чтение. Ему неприятно было слушать. А теперь, когда ближе познакомился со стихами, его не оторвешь от них. Почти все наизусть знает. Вас ждет такая же участь! — закончил поэт, указывая на зал, под дружный смех.

Этим знакомым оказался я, стоявший в эту минуту у колонны. Стремительно изменив позицию, я тут же укрылся за ней.

После выступления мы зашли поужинать в ресторан «Европейской». За соседним столиком сидели Л. Авербах, Ю. Либединский, А. Фадеев. Решили соединить столы.

Около часа ночи Маяковский предложил Фадееву прогуляться, и мы долго бродили по Невскому. Их разговор главным образом касался советской литературы. Посвящали друг друга в творческие планы…

Невский совсем опустел. Лишь изредка промелькнет одинокий пешеход…

Жалобы не очень приятно писать, да и самих жалобщиков считают, как правило, людьми вредными, дотошными.

Путешествуя, Маяковский не раз прикладывал руку к этому виду «творчества». Это — принцип. Это борьба с косностью, разгильдяйством, грубостью. Я бы причислил многих жалобщиков к активным людям, во всяком случае Маяковского.

Недаром поэт писал: «…увидев безобразие, не проходите мимо…»

Уж полночь близится… Владимир Владимирович очень устал. Позади — два горячих выступления. Томимся в ресторане «Европейской», дожидаясь официанта. Наконец он явился, однако лишь затем, чтобы попросить нас перейти в другой зал.

— А почему здесь нельзя? — спрашивает Маяковский.

— Здесь для иностранцев, — таинственно-торжественным тоном преподнес официант.

— Странно, им можно, а нам нельзя, мы на задворках, что ли? Чем мы их хуже? Можно просто совместить и своих и гостей, наконец? Или предупредили бы, мы бы не стали подниматься на шестой этаж, — раздраженно внушал Маяковский. — Откажемся на время от роскошных блюд, — предлагает он, — и закажем скромные яичницы. Дело пяти минут.

Мы перешли в соседний зал. Вот тут только и начались настоящие муки голода. Неоднократно напоминали официанту, но тщетно. Владимир Владимирович не выдержал, вскочил с места и потребовал книгу жалоб. И это нигде и никогда не опубликованное произведение заняло целую страницу большого формата.

— Теперь пишите вы! — неожиданно предложил Маяковский, вручая мне свою ручку.

— Лучше вас я не напишу, что можно еще прибавить?

— Шут с вами, не пишите, лентяй, но расписаться подо мной вы обязаны!

— Это — пожалуйста. Жаль только, что не под стихами, но все равно — соавторство.

В Михайловском театре шли генеральные репетиции пьесы, вернее, композиции-инсценировки, сделанной по поэме «Хорошо!».

Еще в декабре 1926 года Управление ленинградскими академическими театрами обратилось к Маяковскому с предложением написать пьесу к 10-летию Октября. В апреле 1927 года он прочел в управлении первые восемь глав поэмы «Октябрь» (первоначальное название «Хорошо!»). Эти главы и легли в основу пьесы «Двадцать пятое октября 1917 года».

Представление было задумано как синтетическое: оно включало в себя музыку, хор, кино, радио и пояснительный авторский текст.

Летом этого года Маяковский ездил в Ленинград читать готовые главы комиссии академических театров по празднованию Октября, а в августе работал над композицией с режиссером Н. В. Смоличем, в Крыму.

Несколько раз он бывал на генеральных репетициях и остался недоволен.

В журнале «Рабочий и театр» Владимир Владимирович поместил заметку, в которой выражал все же уверенность, что спектакль получится. В те дни, решавшие судьбу спектакля, он, очевидно, колебался, огорчался, но надеялся. А перед отъездом в Москву сказал:

— Нет, это не то, надо сделать настоящую пьесу!

Премьера инсценировки состоялась 6 ноября. За три дня до этого Маяковский уехал из Ленинграда, тем самым, мне кажется, он выразил свое окончательное мнение о спектакле.

В РОДНЫЕ КРАЯ

Я знаю: глупость — эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты.

Когда в Москве грянут морозы, в моих родных местах будет еще тепло. Люблю ездить на юг зимой. Если позволит время, задержусь в Грузии до нового года, — сказал Маяковский, собираясь в дорогу.

Владимир Владимирович, как всегда, деловит, подтянут. В ростовской гостинице он разложил свои вещи и первым делом отдал гладить костюм.

— Нельзя же в самом деле выходить на люди в мятом!

Выступление за выступлением: Ростов, Новочеркасск, Таганрог. Иногда по два-три раза в день. Любопытное совпадение: в Таганроге вечер состоялся в тот же день, что и в прошлом году и в том же самом клубе кожевников — 25 ноября. Нынешняя программа в основном включала новую поэму.

Слова поэта, обращенные в прошлом году к малочисленной аудитории, возымели свое действие: таганрожцы «выправили свою неловкость» — народу явилось вдвое больше, чем в прошлом году, и Владимир Владимирович воспринял это событие буквально с детской гордостью. Здесь же, после вечера, я получил экземпляр поэмы «Хорошо!» с авторской дарственной надписью. Потом книга исчезла. Произошло следующее.

Когда мы утром торопились на вокзал, к Маяковскому обратился молодой журналист с просьбой дать ему поэму, чтоб сегодня написать рецензию в местную газету.

Маяковский извинился:

— К сожалению, все экземпляры остались в Ростове. — Потом обрадовался: — А впрочем, есть выход! Павел Ильич, дайте, пожалуйста, товарищу ваш экземпляр.

Я замялся:

— Неудобно, с надписью.

— Подумаешь, надпись! Тем более завтра товарищ будет в Ростове и вам вернет.

Я согласился.

Спустя 37 лет, будучи в Таганроге, я напал на след моей книги и через посредника просил вернуть мне или хотя бы сообщить содержание надписи. Увы, у журналиста оказалась плохая память. Книга ко мне не вернулась.

В Ростове сказалась усталость. У Маяковского начинался грипп. А тут еще рецензия на поэму «Хорошо!» с оскорбительно-

хлестким заголовком «Картонная поэма», появившаяся в газете «Советский юг». В ней было сказано, что Маяковский «не отразил революции» и что под его возгласом «Хорошо!» подпишется «любой обыватель». Рецензия кончалась словами:

«К 10-летней годовщине трудящиеся СССР преподнесли республике ценные подарки: электростанции, заводы, железные дороги.

Поэма Маяковского не принадлежит к такого рода подаркам.

Она скорее похожа на юбилейные, из дикта и картона, расцвеченные, приготовленные к празднику арки и павильоны.

Такая арка, как известно, недолговечна. Пройдет месяц-другой, арка отсыреет, потускнеет, поблекнет, встретит равнодушный взор прохожего».

В другой газете, «Молот», напечатан положительный отзыв:

«Хорошо!» — поэма, написанная обычным для Маяковского динамическим, сжатым, полным стремительности и в то же время своеобразной размеренности темпа языком, она блещет целым рядом образных, заражающих своим пафосом мест. Такие куски поэмы, как «С Лениным в башке, с наганом в руке», «Пою мою республику, пою»[28], и др. — это лучшее, что дал нам Маяковский.

Сочетание же пафосных частей с отдельными ироническими, сатирическими и даже лирическими стихами («Две морковинки несу за зеленый хвостик») — отличительная и удачная в смысле формы и выполнения особенность новой вещи Маяковского.

Но и этот отзыв не мог смягчить впечатления от «картонной поэмы». Владимир Владимирович мрачен.

— А может быть, поэма действительно плохая? — сказал он мне, когда мы покидали Ростов.

В армавирской гостинице Маяковский решил отлежаться до выступления.

— Пусть швейцар говорит всем, кто будет спрашивать, что меня нет дома. Быть может, полежу спокойно и почувствую себя лучше. Не срывать же вечер.

Но отдохнуть так и не удалось. Как ни уверял швейцар, что Маяковского нет, люди приходили и настойчиво стучали в дверь.

Маяковский не отзывался, но это не всегда помогало. Некоторые стучали так долго, что мне приходилось выходить и внушать: человек болен.

Самого настойчивого гостя он вынужден был все-таки принять. Им оказался заведующий книжным магазином. Он вошел, держа за руку мальчика:

— А это мой сын, он ни за что не хотел со мной идти, но я ему сказал: дурак, ты потом будешь всем рассказывать, что видал

живого Маяковского. Я ведь так ждал вашего приезда и даже сделал витрину из ваших книг.

— А много у вас моих книг?

— Сколько угодно.

— Привезите их вечером в театр, я их куплю у вас.

— У меня слишком много, столько вы не купите.

— Тогда часть лично мне, а остальные продавайте в театре. Если они не пойдут, я вам помогу.

В антракте был налажен книжный базар. У столика — толпа. Маяковский раздавал автографы.

— Товарищи, подписываю без всякой надбавки, пользуйтесь случаем. У кого не хватает — я заплачу, а вы потом внесете в магазин.

Сначала покупали недоверчиво и робко, затем число покупателей угрожающе разрослось. Завмагу стало явно не по себе: «Не найдешь, с кого получать, смотрите, пожалуйста, как все вдруг заинтересовались стихами!» Столик под напором заскрипел. Завмаг суетился, ворчал: «Надо следить, как бы кто не стянул».

Маяковский сразу его успокоил, вручив в счет возможных неприятностей внушительный задаток. Завмаг повеселел: «Если бы не вы, так лежали бы эти книги еще несколько лет, ведь среди них много совсем не ходких — старые издания».

Перерыв затянулся, но публика не в претензии. Базар оказался интересным. Он — как бы продолжение выступления поэта.

Перед началом второго отделения Владимир Владимирович вошел в зал и продолжал взывать:

— Докупайте остатки! Потом будете жалеть!

Летучий аукцион разогрел публику, и вторая часть вечера прошла, пожалуй, еще оживленней. Возникла непринужденная беседа, которая заменила ответы на записки.

Маяковский возвратился в гостиницу с ценной добычей — связкой книг старых изданий.

Грипп держался. Маяковский предложил отменить вечер в Грозном и ехать прямо в Баку.

— Если я поеду сейчас в Грозный, то могут сорваться и Грозный и Баку. Жаль, конечно. Хорошо бы побывать в Грозном. Но что поделаешь?!

В Баку до выступления было два свободных дня. На них он и надеялся.

Южное солнце быстро одолевало болезнь.

В эти дни он работал над стихами о Баку[29]. Маяковский жадно вбирал в себя новый Баку: осматривал улицы, новостройки,

восхищался первой в Союзе электрической железной дорогой, новым трамваем, заменившим унылую конку, побывал на нефтяных промыслах в Сураханах, на заводах.

И вместе с тем он ежедневно выступал: в Доме Красной Армии, на заводе имени Лейтенанта Шмидта, в рабочем клубе имени Шаумяна и у студентов, учителей…

В последние два дня он выступил пять раз (из них четыре — бесплатно).

О Маяковском распространялось много небылиц. Вот почему я и хочу остановиться на денежной стороне его поездок. Иногда он не только ничего не «зарабатывал» на них, но и докладывал к ним. Зато когда он находил нужным, вернее, справедливым, то настаивал на гонораре, считая, что его труд должен оцениваться высоко. Он воевал с людьми, которые полагали, что поэт — это «птичка божия» и поэзия — не профессия. Сами же деньги имели для него весьма условную ценность. Он мог гордиться тем, что «много заработал», однако только потому, что его труд высоко ценится. С радостью помогал товарищам, щедро оплачивал услуги. Одним словом, он был человеком мифически широкой натуры.

На одном из вечеров Маяковский сказал:

— Товарищей часто волнует: не много ли получает Маяковский? Не волнуйтесь. Я получаю меньше, чем мне следовало бы. Расходы все съедают. Учтите: болезни, срывы, не удалось «снять города», переносы, отсутствие сборов — тогда почти убыток. И любой счетовод и даже не счетовод выведет очень скромное среднее. Почему я люблю получать деньги? Деньги существуют, пока они представляют собой какое-то мерило. Меня никто на службе не держит, не премирует, у меня свободная профессия. Чем дороже оплачивается мой труд, тем приятнее: значит, больше ценят то дело, которым я занят. Если скажут рабочему: «С сегодняшнего дня ты переводишься на высшую ставку» — разве он начнет кричать на весь завод: «Не хочу»? Ему ведь приятно! А мне — тем более. Я — почти одиночка. Если я не буду уверен в том, что я делаю, то куда это будет годиться? Деньги — это тоже критерий. Я работаю не меньше любого рабочего. Отпуском ни разу в жизни не пользовался. Брать с тех, кто может платить, — правильно. А то перестанут ценить. Я получаю гонорар, как за любой литературный труд. Кстати, не везде я его получаю. Очень часто я выступаю бесплатно: например, в Москве я всегда выступаю бесплатно, кроме открытых вечеров. Оно и понятно — в Москве ведь нет дорожных расходов. Да и в других городах, на заводах и фабриках, в воинских частях, иногда в вузах. Я уверен, что

большая часть публики это понимает. Но даже меньшинство должно отрешиться от ложных представлений.

Строчки из «Во весь голос» Маяковского, пожалуй, лучший ответ на бестактные вопросы:

Мне и рубля не накопили строчки, краснодеревщики не слали мебель на дом. И кроме свежевымытой сорочки, скажу по совести, мне ничего не надо.

Перед началом вечера во Дворце тюркской культуры Маяковский с местными писателями прошел в читальный зал. Ему очень понравились азербайджанские издания книг. Беседовал с библиотекаршей. Та рассказала, что школьники, с которыми она работала, долго отказывались читать стихи, особенно современные. Тогда она подготовила к Октябрю большой литмонтаж из произведений Маяковского. «Стихи теперь доставляют им удовольствие», — говорила она. Маяковский, который не питал особых симпатий к библиотекарям (часто приходилось сталкиваться с их равнодушным отношением к поэзии, в особенности к его поэзии), был рад тому, что услышал, и горячо одобрил работу бакинской библиотекарши.

Он отказался от машины и поехал в Белый город (предместье Баку), в клуб имени Шаумяна, трамваем:

— Так интереснее — больше увидишь.

Клуб заполнила рабочая молодежь. В зале холодно. Маяковский, боясь снова заболеть, не снимал пальто.

— Товарищи! Так как я у вас выступаю впервые, думаю, что вы будете держать себя «скромно»: будете кричать, свистеть, ерзать — одним словом, выльете свой восторг, и это будет признаком успеха.

По рядам прокатился смех.

Маяковский громко объявил: «Левый марш»! — и прочел его, как всегда, темпераментно. Аудитория действительно заерзала, закричала и зааплодировала.

Затем переключился на сатирические стихи. Их сменили отрывки из «Хорошо!». Под конец — стихи из «американского цикла» и другие.

Появились записки. Спрашивали: «Что такое футуризм?», «Как научиться стать поэтом?», «Что такое рифма?» Владимир Владимирович отвечал и в свою очередь задавал вопросы слушателям: «Понятно ли все то, что я читал?», «Какие стихи больше всего понравились?»

На первый вопрос все отвечали утвердительно. Стихи называли разные.

В док имени Парижской коммуны Маяковский прибыл к обеденному перерыву. Его сопровождали местные поэты —

Михаил Юрин, Георгий Строганов, Сулейман Рустам, Виктор Виткович. Рабочие собрались в механическом цехе.

— Готов читать здесь хоть до самого вечера, — сказал Маяковский, оглядывая цех.

Он взобрался на токарный станок, и с этих необычных подмостков, которые пришлись ему явно по душе, грянул «Левый марш». Прочитав несколько стихотворений, он уступил место бакинским поэтам, о которых тепло отозвался.

Первым выступил Юрин. Одно из его стихотворений кончалось строками:

Вагоновожатый, Включи ток, До социализма без остановки!

Рабочие дружно аплодировали.

Сильное впечатление произвело стихотворение Строганова «Угрюмое детство» — о беспризорщине, о том, как базарный вор Володька Сыч проиграл в карты свой глаз:

Все это было не в бреду, а в детстве наяву.

Маяковский читал отрывки из поэмы «Владимир Ильич Ленин».

Рабочие проводили его до ворот, просили приезжать.

Еще больший успех имел он на заводе имени Лейтенанта Шмидта, Об этом свидетельствовала официальная справка, выданная заводским комитетом:

«Дана сия от заводского комитета Закавказского металлического завода имени Лейтенанта Шмидта тов. Маяковскому в том, что сегодня он выступил в цеху перед рабочей аудиторией со своими произведениями.

По окончании читки тов. Маяковский обратился к рабочим с просьбой высказать свои впечатления и степень усвояемости, для чего предложено было голосование, показавшее полное их понимание, так как „за“ голосовали все, за исключением одного, который заявил, что, слушая самого автора, ему яснее становятся его произведения, чем когда он читал их сам. Присутствовало — 800 человек».

(Этим одним, который составил «исключение», был бухгалтер.)

Наконец, Маяковский в родном Тифлисе:

Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин.

Рано утром он постучался ко мне в дверь:

— Довольно спать, ведь весна на дворе! (*это в декабре-то. — П. Л.*) И мы пошли смотреть тифлисский базар.

В гостиницу наведывались писатели, журналисты и просто знакомые. А один поэт удивил даже Маяковского: он специально примчался из Эревани, чтобы познакомиться с Владимиром Владимировичем и послушать его выступление. Фамилии я его не

запомнил. Но позднее он объявился. Это был Р. Григорян.

В Тифлисе Владимир Владимирович чувствовал себя как дома. Он был оживлен и весел. Все ему было здесь приятно, всем он был доволен.

Однажды мы договорились о встрече. Я спросил:

— Где вы будете?

— Вы меня все равно не найдете.

— Почему?

— Очень просто, я буду сидеть в одном духане. Точного адреса не знаю, но так и быть, я вам кое-как объясню: дойдете до памятника Пушкину, затем направо, потом налево… Словом, увидите симпатичную вывеску и на ней две замечательные селедочки — как живые. Вот там я и буду. В этом духане кормят как нигде!

— Неужели лучше, чем в нашем ресторане?

— Именно! Ничего похожего. Там настоящий кавказский стол. Придете — увидите.

Духан, да еще с лирическим названием «Симпатия», и в самом деле оказался несравненным. Там мне открылся Маяковский как знаток кавказской кухни. Он посвящал меня в тонкости кулинарии.

В этом духане он подолгу просиживал за чтением газет и журналов, беседовал со своими грузинскими друзьями.

В конце первой части вечера в Театре имени Руставели Маяковский обратился к аудитории с шуткой:

— Товарищи, после перерыва я отвечу на записки и прочитаю пару-другую новых стихов, после чего мы разойдемся, не причинив никому вреда.

Запомнились некоторые записки и ответы Маяковского. «Когда будете читать „пару-другую“, прочтите „Сто сорок солнц сияло на закате“».[30] Ответ:

— Этому товарищу можно смело сказать, что его солнце уже закатилось.

«Являетесь ли вы членом ВКП(б)?»

Ответ:

— Я приобрел массу привычек, несовместимых с организованной работой. Но от партии себя не отделяю и считаю себя обязанным выполнять все постановления большевистской партии, хотя и не ношу в кармане партийного билета.

«Товарищ Маяковский, кто будет читать ваши стихи после вашей смерти?»

Маяковский резко отрезал:

— У вас нет родственников в Гомеле? Узнаю по почерку. Там тоже такой умник нашелся.

«Прочтите отрывок из поэмы „Ленин“ и еще раз заключительную часть „Хорошо!“».

Ответ:

— Я в принципе не бисирую, но законную просьбу автора записки одобряю и специально для него прочту одну из любимейших своих вещей.

«Нравятся ли вам тифлисские барышни?»

Маяковский ничего не ответил, только развел руками и, улыбнувшись, учтиво поклонился.

«Когда вы читаете — вы поэт, когда вас читаешь — вы прозаик».

— Значит, дело не за мной, а за вами!

«Ту ицит картули?» (Знаете ли вы по-грузински?)

Ответ:

— Стараюсь не забывать.

На всех вечерах находились люди, которые противопоставляли ему Пушкина. Нашлись они и здесь. «Пушкин понятнее вас».

— Пушкина читают сто лет. Не успел ребенок еще родиться, а ему уже читают «Евгения Онегина». Но современники говорили, что от чтения Пушкина скулы болят. До того трудным казался тогда его язык. В наше время, конечно, приятно его почитать — нет слов. Это добросовестнейший поэт. Квалифицированный читатель — рабочий, крестьянин, интеллигент — должен знать Пушкина, но не следует впадать в крайности и читать только его. Я лично очень люблю Пушкина и часто упиваюсь отдельными местами «Онегина»:

Я знаю, жребий[31] мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Выше этих строчек не бывает. Это предел описания влюбленности.

На другом вечере, в университете, два студента разошлись во взглядах на творчество Маяковского и подрались у самой эстрады. Маяковский пытался успокоить их. Противники ругались по-грузински. И Владимир Владимирович тоже выкрикнул что-то по-грузински.

Зал был наэлектризован. Дерущихся с трудом удалось развести и рассадить по разным углам.

Молодежь, услышав грузинское слово из уст Маяковского, стала настойчиво просить прочитать что-нибудь по-грузински. И он прочел несколько строк из «Левого марша». Вспыхнула овация.

В перерыве Маяковский сказал:

— Вот это, я понимаю, вечер! Сколько темперамента! Раз дерутся, значит, есть за что!

Студенты провожали его до ворот. И увидев, что мы садимся в трамвай, поклонники мгновенно заполнили почти пустой вагон (это была конечная остановка): им хотелось продлить удовольствие — побыть с Маяковским возможно дольше.

От шума, драки и «веселого» трамвая звенело в ушах, когда мы остались одни.

— Теперь вы понимаете, что такое Тифлис? Где, когда, у кого такое было?

Пребывание Маяковского в Тифлисе закончилось выступлением в Закавказском коммунистическом университете, куда были приглашены писатели и журналисты, и в Центральном рабочем клубе. Маяковский собирался еще побывать в Кутаисе, Эривани, Батуме, на земле своего детства — Багдади[32].

— До чего хорошо там! — говорил он. — Я бы вам показал и рассказал много интересного.

Но в Москве ждали неотложные дела, и он вынужден был возвращаться. По дороге Владимир Владимирович предложил составить «график поведения»: до станции такой-то — играем в карты, до такой-то — не курим, затем читаем, затем обедаем, затем лежим и молчим, затем просто рассказываем глупости, затем поем и т. д. Согласно этому графику мы должны были играть в «1000» до станции Гудермес. Но выясняется, что поезд сильно опаздывает. Я предлагаю отойти от графика — вдруг опоздает на целые сутки. Под разными предлогами выбегаю из купе, устраиваю передышку.

— Довольно бегать и прикидываться! Будьте человеком слова! — сказал Маяковский.

— А почему наш поезд — не человек слова?

— Меня это не касается — мы люди, а не поезда. Пришлось играть до Гудермеса. Здесь поезд стоял очень долго.

Владимир Владимирович предложил другое: до отхода поезда быстро шагать от паровоза до хвоста и обратно и сосчитать количество шагов.

— Но чьими шагами? Ведь у вас вдвое шире.

— В одну сторону вашими, в другую — моими. Так и шагали — серьезные и озабоченные счетом.

На станции Таганрог Маяковский вышел погулять. Поезд готов к отправлению, а его нет. Я волнуюсь. Наконец-то, запыхавшись, он вбегает в вагон, на ходу поезда. Я — с упреками. Он в ответ протягивает большую коробку зернистой икры.

— Молчите! Я и так из-за вас пострадал. Я бегал искать подарок ко дню вашего рождения. (*В Тифлисе я мельком сказал,*

что не поспею в Москву ко дню рождения. — П. Л.) А в дороге это нелегкое дело.

Поезд опаздывал часов на двенадцать. Вместо трех ночей пришлось провести в вагоне четыре. Но так как опоздание не было предусмотрено, проводник лишил нас постельного белья: по положению оно предоставлялось только на три ночи.

— Нет, обязательно возвратите белье, — настаивал Маяковский. — Вы ведь знали, что поезд опаздывает? А раз так, то вы должны были и опоздать снять белье.

В Москве, усаживаясь на извозчика в четыре часа ночи, Владимир Владимирович расплылся в улыбке:

— Интересно ездить, но люблю возвращаться в Москву. Каждый раз какое-то особенное, приятное чувство…

НА УРАЛ

Самый северный город, куда я ездил, — это Ярославль, — сказал мне Маяковский (*Ленинград не шел в счет. — П.Л.*). — Пора двинуться на Урал и в Сибирь, обязательно побывать на Кузнецкстрое. И если уж ехать, так до самого Владивостока. Тем более что там, как передавали, есть улица моего имени. Просто не верится. Стоит поехать, чтобы самому в том убедиться, посмотреть, как выглядят дощечка, улица и дома, — шутил он.

Владимир Владимирович мечтал и о многих других поездках, которые не успел осуществить. Однажды в вагоне мы рассматривали карту. Он ткнул карандашом наугад в середину пустого пространства — оказалась Элиста.

— Вот где надо побывать! Ни рекой не подъедешь, ни железной дорогой. Туда уж наверняка никто из нашей братии не заглядывал.

Он собирался поехать на долгое время в промышленные районы, в колхозы, в совхозы…

— Надо подолгу посидеть в каждом месте, по-настоящему ко всему присмотреться, иначе — зачем ездить? А ведь некоторые писатели хвастаются тем, что за один день чуть ли не три завода изучили.

Судьба уральской поездки висела на волоске: Маяковский находился в Ленинграде и там заболел. И — о радость — телеграмма: «Покупайте билет привет Маяковский».

Мы условились встретиться на Казанском вокзале. Стрелки больших перронных часов двигались неумолимыми рывками, и каждый из них заставлял меня вздрагивать. Я уже занял место и стоял у вагона. До отправления — не больше минуты, а Маяковского все нет.

Буквально в последние секунды я увидел, как, размахивая двумя чемоданами, он мчится со всех ног и вскакивает в вагон в тот самый момент, когда раздается прощальный паровозный гудок.

Отдышавшись, Владимир Владимирович прошел в купе, взвалил вещи на полку и спокойно сказал:

— Вот видите, я никогда не опаздываю. «Забудем прошлое, уставим общий лад», не волнуйте себя и меня. Шофер действительно опоздал, а я — нет. Часы у меня всегда нарочно поставлены на три минуты вперед. Это меня и спасло. Стоит ли волноваться, когда мы едем в замечательную Казань! Если у меня не будет ни копейки, я обязательно поеду в Казань.

— А как же вы без копейки купите билет?

— И на билет мне вышлет моя Казань!

Маяковский долго слонялся по коридору. Движение было для него необходимостью. Просунув голову в купе, он позаботился и обо мне:

— Торопитесь, пока коридор свободен, иначе пропадет ваш моцион. А завтра утром мы гордо проедем «знаменитый» Арзамас. До чего же приятно посмотреть на него, не задерживаясь! Надо не проспать.

Но мы проспали. Проснувшись, Маяковский спросил:

— Как спали, что снилось? Я предлагаю, если снилось что-нибудь, будем друг другу рассказывать. А если нет, будем выдумывать сон. Кто неинтересно выдумает, с того штраф.

На следующей большой остановке Маяковский внимательно вглядывается в окно:

— В прошлом году мы проезжали здесь в воскресенье или в праздник, утром. Девушки в национальных костюмах танцевали. Вот в этом месте!

— Неужели вы помните точно, именно на этой станции и в этом месте?

— Именно на этой! (*Это была станция Шумерля. — П. Л.)*

В Казани, как и в прошлом году, театр переполнен.

— Казань не подвела — все пришли, — радуется Владимир Владимирович. — А как здорово слушали поэму![33] Вещь, судя по всему, сделана неплохо. Я пронес ее через десятки городов и десятки тысяч людей, и везде слушали с интересом. Ругня отдельных рецензентов — не в счет. Важно мнение масс.

В номер старинного «Казанского подворья», где остановился Маяковский, началось паломничество… Журналистов и студентов сменили местные и приезжие поэты. Вошел совсем молодой паренек и после робкого предисловия прочел по-марийски «Левый марш».[34] У Маяковского в руках тетрадь стихов. Появляются все новые и новые люди.[35]

Этот большой литературный день лег в основу стихотворения «Казань», которое впервые было напечатано в «Комсомольской правде» 7 июля 1928 года.

Входит татарин:

«Я / на татарском / вам / прочитаю / „Левый марш“ / Входит второй. / Косой в скуле. / И говорит, / а карманах порыскав: / „Я — мариец. / Твой / „Левый“ / дай / тебе / прочту по-марийски“. / Эти вышли. / Шедших этих / в низкой / двери / встретил третий. / Марш / ваш — / наш марш. / Я — / чуваш, / послушай, / уважь. / Марш / вашинский / так по-чувашски…»

В начале пятидесятых годов по пути из Казани в Саратов у

меня произошла смешная встреча.

В одном со мной купе оказался мужчина внушительного вида, с необычным багажом: несколько сот книг. Разложив свои пачки, он глубоко вздохнул:

— Эх, теперь хорошо бы заиметь интересного собеседника! (Нас было двое.)

— Это покажет будущее, — заметил я.

Слово за слово. Оказалось, что мой сосед едет из Чебоксар в Ульяновск, куда и везет чувашские книги.

— Это не сочинения Белинского и Гоголя, — улыбнулся он, — и я не знаю, понесут ли их с базара. Но чувашей вокруг Ульяновска не меньше, чем в нашей столице.

Он спросил:

— А вы не имеете отношения к литературе? — Косвенное, — ответил я, — такое же, как все люди, которые ее читают.

— Жаль! Я сам поэт и переводчик. В прошлом году был в Москве. У нас там проходила неделя чувашской литературы и искусства. Вы не были на наших вечерах?

— К сожалению, я уезжал.

— В Москве я много успел. Побывал в музее Маяковского на Таганке, читал некоторые материалы, встречался с близкими ему людьми. Познакомился с сестрой поэта — Людмилой Владимировной, — продолжал мой попутчик. — Хотел еще встретиться с одним товарищем, который знал Маяковского. Вы не слыхали такого — Лавут Павел Ильич?

— Слыхал. Это я и есть! — ошарашил его я.

— Нехорошо врать, да еще в поезде! — обиделся было собеседник. Но я быстро убедил его в том, что говорю правду.

Мы познакомились. Чувашский поэт и переводчик — Стихван Шавлы — прочел мне на своем родном языке «Паспорт» и 19-ю главу из «Хорошо!». Я живо вспомнил «Казанское подворье» и молодых поэтов в гостях у Маяковского.

Но вернемся к 1928 году.

Маяковский выступал в Казанском университете. Как я уже говорил, среди других произведений он читал «По городам Союза», в котором вспоминал свой прошлогодний вечер у студентов.

Стихотворение вызвало бурную овацию.

Снова поезд. Маяковский сомневался — наш ли это вагон:

— Впервые встречаю такой вагон. Почему нет закрытых купе? Он как жесткий; но — мягкий.

Проводник объясняет, что вагон очень старый, таких во всей стране осталось несколько. Скоро и они рассыплются.

— Надеюсь, без нас. А кстати — почему он пустой? Где

пассажиры? — интересуется Владимир Владимирович.

— У нас так часто бывает, — отвечает проводник. — Дорогой, правда, подсаживаются «служебные». Вот только что сел один железнодорожник, он устроился в закрытом служебном купе.

— А нельзя ли и нам так устроиться? Мы почти железнодорожники — всю жизнь разъезжаем.

В конце концов проводник пустил нас в закрытое купе.

— Значит, спальня у нас есть, — сказал Маяковский, — а открытые купе надо распределить так: в одном — будуар, в другом — салон, оно же — и местное казино, оно же — читальня.

А рядом — столовая. «Ну скажите, Кулидж, разве это жизнь?»[36] Вот это жизнь!

Всю дорогу никто не беспокоил. После завтрака он сидел в «читальне» за газетами и журналами. Потом переходил в «столовую» и т. д.

Шутил:

— Я и в ресторанах мало стесняюсь, а здесь совсем красота: ешь курицу руками в полное удовольствие… Теперь будем делить «общую курицу славы» — по одной ножке и по одной ручке. Соль пополам, чтобы не тыкать курицей в общую, как это часто делают в дороге.

Съев курицу, он вздохнул:

- «Ах, ножки, ножки, где вы ныне?»

К слову пришлось, я рассказал Маяковскому случай.

— В мягкий вагон вошел крестьянин с мешком и стоит. Трое уговаривают его снять кожух и присесть. Отвечает:

— Койку, боюсь, испачкаю.

Потом сел на краешек дивана и так просидел до своей станции. Выяснилось — обстоятельства заставили ехать в мягком, других мест не оказалось.

Маяковский задумался:

— Надо сделать так, чтобы все ездили на большие расстояния в купированных или мягких. Так оно и будет — не сомневаюсь. Это время — не за горами!

Ночью — станция Красноуфимск. Перед сном Маяковский решил прогуляться. Мороз трескучий.

— Чувствую уральский воздух. Уже похоже на север, Заставляю себя гулять на морозе: надо привыкать, поскольку я в принципе южанин.

Свердловск только просыпался.

Газетчики начинали свой крикливый день. Я позвал парня, взял свежие газеты. Маяковский привычно вонзил глаз:

— Смотрите — статья. И даже с портретом. Интересно!

Редкое явление: «Уральский рабочий» посвятил приезду гостя

большую статью. Автор И. Нович, ныне известный литературовед, обстоятельно рассказал о творческом пути поэта, проанализировал поэму «Хорошо!». Он писал: «Владимир Маяковский — один из наиболее ярких представителей поэзии нашей пооктябрьской, революционной эпохи». И там же: «Приезд Маяковского на Урал — бесспорно глубоко положительное явление, становящееся особенно ценным в свете общего, наблюдающегося сейчас оживления литературной жизни области».

Первое выступление Маяковского — в «Деловом клубе». Ему предшествовала любопытная история.

Я приехал в Свердловск еще 7 января и вел переговоры с заведующим этим клубом об аренде зала для вечера Маяковского на 26 января.

Он принял меня более чем равнодушно и выдвинул такие условия, с которыми нельзя было согласиться. Я ушел расстроенный. На следующий день, в воскресенье, я снова явился сюда, надеясь, что все же удастся убедить зава. Но… вторичная осечка. Загрустил. Скис.

Неожиданно мне навстречу по тускло освещенному коридору — группа людей. Среди них — Анатолий Васильевич Луначарский.

Я хотел пройти незамеченным. Но Анатолий Васильевич протянул руку:

— Здравствуйте! А вы что здесь делаете?

— Я здесь с Маяковским.

— Как, Владимир Владимирович здесь? Приятно, очень приятно.

— Маяковского самого пока нет, — уточнил я. — Я договариваюсь об его вечерах на конец января.

— Пожалуйте с нами, — указал мне на открытую дверь Анатолий Васильевич. И повел в комнату, где был накрыт стол.

Потом в дверях мелькнула фигура заведующего клубом. Он разглядел, должно быть, меня. В этот день мы с ним обо всем договорились.

Когда я рассказал Маяковскому эту историю, он засмеялся:

— Нам повезло на подхалима!

В то время в Свердловске гастролировали эстрадные сатирики Рим и Ром. Имея это в виду, Владимир Владимирович сделал на вечере такое оригинальное вступление.

— Рим-Ромы выступают с эстрады. Певцы, куплетисты и музыканты имеют аудиторию, а поэты — нет. Поэтов — на эстраду, искусство — а массы!

Сам он в тот вечер выступал в переполненном зале.

После выступления в «Деловом клубе» местные журналисты организовали нечто вроде банкета. Маяковский был весьма тронут.

Он осматривал город, заводы, новостройки.

В воскресенье на розвальнях отправились смотреть могилу последнего русского царя. Привезли тулупы. «На ваш рост нелегко подобрать», — пошутил предисполкома А. И. Парамонов. [37]

Побывали и в доме, где был расстрелян Романов.

Читая потом стихотворение «Император», написанное под впечатлением этих экскурсий, поэт говорил:

— Конечно, как будто ничего особенного — посмотреть могилу царя. Да и, собственно говоря, ничего там не видно. Ее даже трудно найти, находят по приметам, причем этот секрет знаком лишь определенной группе людей. Но мне важно дать ощущение того, что ушла от нас вот здесь лежащая последняя гадина последней династии, столько крови выпившей в течение столетий. Когда я был гимназистом, я «имел счастье» наблюдать встречу царя в Москве. Нас вывели на Тверскую для показа этого представления. Вот об этих «встречах» здесь и идет речь:

Помню — / то ли пасха, / то ли — / рождество: / вымыто / и насухо / расчищено торжество. / По Тверской / шпалерами / стоят рядовые, / перед рядовыми — / пристава. /… / На всю Сибирь, / На весь Урал / метельная мура. /… / — Будто было здесь?! / Нет, не здесь. / Мимо! — / Здесь кедр / топором перетроган, / зарубки / под корень коры, / у корня, / под кедром, / дорога, / а в ней — / император зарыт.

Он предварял и стихотворение «Екатеринбург — Свердловск»: — Был захолустный Екатеринбург, а теперь — растущий и преображающийся Свердловск. А что еще будет! Ведь это только начало!

…как будто / у города / нету / «сегодня» / а только — / «завтра» / и «вчера».

Свердловск очень нравился Маяковскому, в особенности его молодежь: «северное» спокойствие аудитории, умение слушать.

Днем он читал для комсомольского актива, вечером — для студентов Уральского политехнического института. Молодежь следила за каждым его движением, ловила каждое его слово.

В газете появилось трогательно-наивное и вместе с тем деловое объявление:

«Сегодня в клубе рабкоров состоится занятие литгруппы „На смену“ совместно с рабкорами Свердловска. Беседу проведет поэт Вл. Маяковский. Вход по особым билетам, разосланным по рабкоровским кружкам».

Но самым важным было то, что за пять дней пребывания в Свердловске Маяковский написал три стихотворения, О двух я уже упомянул. Назову еще «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру», которое он обычно объявлял несколько иначе: «О моем вселении…» Интересна история этого стихотворения. Сестра поэта — Людмила Владимировна — рассказывала, что брат помог приобрести им (матери и сестрам) квартиру в новых кооперативных домах Трехгорной мануфактуры. Впервые войдя в нее, он спросил: «Это у всех рабочих квартиры с ванной?» Тогда, вероятно, и родилась мысль написать стихотворение о вселении в новую квартиру. Здесь, в Свердловске, побывав в хорошем общежитии и в новых домах, куда вселялись рабочие Верхне-Исетского завода, он снова вернулся к этой теме.

Однажды после чтения «Ванны» какой-то парень спросил Маяковского: «Вот вы пишите „ванна“, так это ж редко, у кого ванна! Это не реально!»

— Важна сама идея. Если уж начали строить с ваннами — дальше пойдет быстрее. Так, по крайней мере, должно быть, и я уверен, что так и будет.

30 января утром в Свердловске на вокзале я узнал, что через час должен пройти вчерашний «курьерский» из Владивостока. С трудом дозвонился в гостиницу Маяковскому (автоматов тогда еще не было). Собрав срочно вещи (свои и мои), он примчался на извозчике. Оказалось, что мягкий вагон «заболел» и его собираются отцепить, а пассажиров разместят кого куда. Билетов пока не дают. Я разыскал начальника поезда.

— Для Маяковского сделаю все, что могу. Только обязательно познакомьте меня с ним. Какой он из себя?

Пока поезд маневрировал, появился и Маяковский с носильщиком.

Начальник выполнил свое обещание и единственное двухместное свободное купе в «международном» предоставил нам.

Повезло, что и говорить!

Тут необходимо сделать отступление весьма принципиального характера: через сорок шесть лет в свердловском сборнике «Поиск» (1974 г.) отведено место и пребыванию Маяковского на Урале.

Автор очерка справедливо делает оговорку: «О предельной точности всегда говорить рискованно. А здесь тем более: ведь сам я не был очевидцем описываемых событий…» Но далее начинает фантазировать, рассказывая, как провожали Маяковского на ночь глядя на перроне свердловского вокзала — кто именно провожал

и о чем беседовали и, дав волю воображению, приводит даже подробности процесса работы поэта в самом вагоне, отвозившем нас в Пермь. Источник ясен: автор использовал материал солидного тома «Литнаследства» (№ 65), в котором речь идет о предсмертных набросках поэта, якобы написанных в январе 1928 года. Эта датировка мотивируется лишь тем, что они вписаны в записную книжку рядом со стихами, действительно созданными во время пребывания Маяковского в Свердловске. Удивительно, как могла незаметно проникнуть в этот том следующая за стихами:

Уже второй / должно быть ты легла / Покой благой / в ночи Млечпуть серебряной Окою / я не спешу и молниями телеграмм / Мне незачем тебя / будить и беспокоить -

такая абсурдная фраза: «Строки эти приходят во время поездки в Свердловск, звездной ночью, навевающей покой…» И дальше автор статьи В. А. Арутчева вдается в область художественного вымысла.

Откуда автору знать, где именно поэт создавал эти строки, — ведь он с ней не делился. Ко мне она по этому поводу не обращалась. А коли и обратилась бы, я, находясь тогда рядом с Маяковским, пожалуй, не мог бы ей быть полезен.

Дальше автор ничтоже сумняшеся к тому же времени относит и такие заготовки:

На знаю я страшнее / оскорбленья / просыпов / чтобы не видеть / то что видит Осипов.

Автору бы надо задуматься, кого поэт имел в виду, намечая эти мрачные строки.

В январские дни 1928 года Маяковский не мог знать Л. Осипова, ибо он появился на писательском горизонте не ранее второй половины этого года, то есть тогда, когда стал управделами ФОСПа (Федерации объединений советских писателей).

Осипова Маяковский пригвоздил не зря — он явился прототипом бюрократа Оптимистенко в «Бане».

Осипов не отличался сдержанностью и вежливостью. Особенно это чувствовалось в отношении к людям, которых он недолюбливал, и в первую очередь к Маяковскому. А тут еще в связи с намечавшейся выставкой «20 лет работы Маяковского», как я понял, у Владимира Владимировича произошла в начале 1930 года размолвка с Осиновым, который, очевидно, нанес ему оскорбление, и логика событий говорит о том, что Маяковский тяжело переживал это…

В одной из записных книжек рукой Маяковского записан номер телефона Осипова — 4-31-14.

Предсмертные же наброски из так называемого «Неоконченного» так же, как и ранее приведенные, появились, конечно, в 1930 году, а точнее, незадолго до катастрофы.

Автор статьи В. А. Арутчева ссылается на то, что эта записная книжка была в экспозиции выставки в феврале и марте 1930 года и Маяковский не мог вписать в нее этих строк в предсмертные дни. Даже если не считать того, что этого доказать невозможно[38], сама по себе логика не на стороне автора. Почему поэт не мог делать наброски в другие сроки? Ведь между январем 1928 года и 1930 годом пролегают два года!

Еще факты: в этой же книжке, имеется подробный адрес второго МГУ, записанный с моих слов рукой Маяковского ввиду того, что он никогда там не бывал и не выступал, а за три дня до смерти, то есть 11 апреля, ему предстояло там выступать.

В этой же книжке записаны стихи 20-го года «История про бублики и про бабу, не признающую Республики».

Тут уж ни адрес МГУ, ни стихи эти никак не свяжешь с Уралом! Подвернулась книжка, он и вписал. Кстати, это бывало не раз и прежде — об этом пишет и сама Арутчева.

Всей этой фантастикой автор завуалировал реальные факты: процитированные ранее строчки — «уже второй» относятся, мол, не к тем женщинам, с которыми поэт познакомился в конце 1928 года и в середине 1929 года, а к прежней своей любви…

По поводу этих неточностей я обращался к известному маяковсковеду В. О. Перцову.

«За эти весьма значительные искажения в десятом томе (куда перекочевал этот вымысел) полного собрания сочинений, которое я тогда возглавлял, — сказал Виктор Осипович, — доля вины лежит и на мне, хотя каждый том имеет своего редактора».

Н. В. Реформатская, редактор этого тома, также принимает на себя долю вины за неточности, перешедшие из 65-го тома «Литнаследства».

Все эти небрежения противоречат духу, облику Маяковского, имя которого, его роль в развитии советской литературы никак не совместимы с искажениями его творческой биографии.

30 января 28-го года Маяковского никто не провожал в Свердловске, уезжали мы утром, а прибыли в Пермь вечером. Звезд не было, поскольку утром они не светят.

Возвратимся непосредственно к этой поездке 1928 года.

Маяковский доволен, да и начальник поезда не внакладе — познакомился с поэтом и хорошее дело сделал.

Перед нами расстилались уральские леса. Владимир Владимирович буквально не отрывался от окна:

— Культурно едем, ничего не скажешь. Кругом такая красота!

Ну кто бы мог подумать, что бывают такие прекрасно опаздывающие поезда? Просто умница!

Пермь тоже встретила поэта статьей в местной газете:

«Свой большой литературный талант Маяковский сумел практически использовать для строительства новой советской культуры.

…В литературной и культурной жизни Перми приезд Маяковского — крупное событие… Он должен дать слушателям новую зарядку а понимании своего творчества».

К сожалению, зал агрофака был крохотным. Молодежь забила все пространство и даже оккупировала часть сцены. И поэт с трудом мог сделать два-три шага,

На следующий день он еще раз встретился со студентами и школьниками. Слушали его прекрасно.

Путешествие на Урал оказалось на редкость удачным, и хорошее настроение не покидало поэта всю дорогу. Мелочи не а счет.

Поздней ночью мы сидим в буфете пермского вокзала и ждем поезда на Вятку. Поезд запаздывает, и Владимир Владимирович шутит:

— Попробуйте опоздать к такому поезду! Он просто не дает нам этих возможности. А вы боялись.

Владимир Владимирович предлагает поиграть «в чет-нечет». В руке медяки и серебро, угадай-ка: чет или нечет? После подсчета суммы выясняется — выиграл или проиграл. Не угадал — плати столько, сколько в руках партнера. Таким способом он отгонял сон, да и не в его привычках сидеть без дела — вот и нашел азартное занятие.

…Едва усевшись в вагон, я разругался с проводником, пытавшимся высадить нас из двухместного купе под предлогом, что, мол, в пути его займут. Маяковский корил меня:

— Я от вас такого не ожидал. Чего разорались? Тем более все кругом спят.

— Но ведь вы сами часто кричите, а у меня прорвалось, — защищался я.

— Я кричу обычно на пользу литературе, а вы — во вред себе.

Ему удалось спокойно, без суеты, уговорить проводника.

Утром Маяковский подружился с трехлетним мальчиком из соседнего купе.

— Здравствуйте, товарищ! — протягивает ему руку Владимир Владимирович.

— Не левую, а правую ручку подай, — внушает рядом стоящая мамаша.

— Как зовут? — спрашивает Маяковский. — Вова.

— Тезка! Сколько лет?

— Тли.

Мамаша поправляет: скоро будет четыре.

— Читать умеешь?

— Буквы знаю…

— Дома у тебя есть игрушки? Какие?

— Лазные.

— Сейчас на вокзале что-нибудь сообразим, здесь, говорят, кустарные вещи продаются, — шепнул мне Маяковский. — И сладостей достанем, чтоб хватило ему до Москвы, — Владимир Владимирович играл с мальчиком, рисовал. В ход пошли спички. Мальчишка до того привязался к дяде, что перекочевал в наше купе.

Но в Вятке Маяковскому ничего не удалось купить ребенку. Помешали,

Когда поезд подошел к перрону, Владимир Владимирович посмотрел в заснеженное окно и удивился:

— С нами, наверное, едет какое-то важное лицо. Смотрите — встречают.

Ему и в голову не могло прийти, что этим «важным лицом» был он сам. Встречами он не был избалован, и такое случилось с ним впервые.

Группа школьников с учителями направилась к Маяковскому и приветствовала его от имени учащихся города. Поезд опоздал на несколько часов, но они дожидались, хотя был трескучий мороз,

Маяковский тронут встречей. Он сердечно поговорил с ребятами и пригласил их в театр, на свой вечер.

Комсод[39] одной из школ попросил Маяковского выступить с благотворительной целью. Он, конечно, согласился. Днем, во время заседания, его слушали делегаты губернского съезда профсоюзов.

Об этих двух встречах писала «Вятская правда». «Поэт — это не певец, воспевающий красивые вещи. Красивое и так красиво. Поэзия — это оружие борьбы, и не плохое оружие. Такое мнение было высказано тов. Маяковским, и правдивость этого мнения доказана поэмой „Хорошо!“… Краткое вступительное слово, поясняющее сущность поэмы, облегчало возможность нашей малоподготовленной аудитории глубже ее воспринять. Вступительное слово было не лишнее. Но и без этого слова поэма „Хорошо!“, поэма, написанная поэтом не по заказу, а потому, что нельзя было не воспеть десятилетие Октября, была бы понятна… Как поэт-борец, выступил вчера тов. Маяковский в Городском театре. Прилизанным мещанам не по вкусу пришлись его резкие

ответы. Они не могли слышать хлесткость его острот. Но и они, пожелавшие отвергнуть Маяковского как поэта, вынуждены были все же признать силу его таланта…»

«Вчерашний день принес новые доказательства роста культурности масс. Губернский съезд профсоюзов пригласил выступить на нем с чтением своих стихов тов. Маяковского. Литература — один из значительных элементов культуры. Съезд профсоюзов, как зеркало, отобразил рост культурных запросов трудящихся масс нашей губернии. Маяковский говорил съезду, что он пришел, прежде всего, для того, чтобы получить проверку понятности своего творчества рабочими массами. Это — не плохо и важно. Но еще важнее — это то, что вчерашний день на маленьком, но, несмотря на это, очень наглядном факте еще раз показал, как быстро растет в наших советских условиях культурность масс».

— Такой небольшой город, а сколько удовольствия! — так воспринял Маяковский Вятку.

Многое пришлось ему здесь по душе: статьи в газете к приезду и в день отъезда, встреча со школьниками на вокзале, хороший вечер в театре и, наконец, новая гостиница с простой и удобной мебелью, с большой пепельницей на столе (он много курил и не терпел маленьких пепельниц).

В промежутке между двумя выступлениями Владимир Владимирович предложил мне сыграть «заключительную» партию на бильярде. По дороге я хотел забежать а магазин — купить вятского масла.

— Что за идея? Бросьте возиться!

Я настаивал на своем.

— Не вертите вола! Или вы идете со мной в бильярдную, или я вас не пущу в вагон с маслом!

В бильярдной было холодно и грязно. Я сказал, подражая его манере:

Шел по улице люматка, поносел и весь дрожал[40].

Он немедленно проскандировал:

Отец, отец, оставь угрозыск, Свою Ратаму не брани![41]

Масло я все-таки купил. А ему сказал уже на перроне:

— Ну, хорошо, масло вам не нужно. Но вятские, кустарные изделия, я надеюсь, вы повезете в Москву?

— Это другое депо, это я люблю.

И тут же он накупил разных шкатулок и безделушек.

Он был противником всяческих «запасов». Но через час после приезда в Москву домработница Паша принесла мне визитную карточку и на ней лишь два слова: «Одарите маслом». Паша объяснила:

— Как дома втолковали, сразу подействовало. — И унесла полбруска.

Потом Маяковский признался:

— Да, с маслом вы оказались правы. Ну как было действительно не привезти вятского масла?

В Москве продуктов хватало вполне, разве что с маслом временами бывали перебои.

Он сказал: «Если даже бывают временные заторы, тем более нельзя делать запасы, ставя себя в привилегированное положение».

«ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ УКРАИНСКУЮ НОЧЬ!»

Именно так начинается стихотворение Маяковского «Долг Украине», написанное в 1926 году. За этой первой гоголевской строкой-вопросом — ответ:

Нет, / вы не знаете украинской ночи!

И дальше — признание, полное глубокого смысла:

Разучите / эту мову / на знаменах — / лексиконах алых, — / эта мова / величава и проста: / «Чуешь, сурмы заграли, / час расплаты настав…» / Разве может быть / затрепанней / да тише / слова / поистасканного / «Слышишь»?! / Я / немало слов придумал вам, / взвешивая их, / одно хочу лишь, — / чтобы стали / всех / моих / стихов слова / полновесными, / как слово «чуешь».

Маяковский горячо любил Украину и не раз выступал а разных ее городах. Особенно часто он бывал в Киеве и в тогдашней столице — Харькове: в январе 1926 года (после возвращения из Америки) он делился впечатлениями о своем путешествии, а в конце того же года выступил с разговором-докладом «Как писать стихи?». В новом, 1927 году он четыре раза побывал в Харькове.

Переполненный театр дружно встретил поэта. Свет потушен, как на спектакле (привычка). Стихли аплодисменты, но Маяковский молчит и удивленно вглядывается в зал. Публика пришла в смущение: что случилось?

Из средней двери в зал буквально ворвался опоздавший. Он лихорадочно разыскивал свое место. Наконец, народ сообразил, в чем дело, и все взоры на него. Он пролез на свое место, но с другого края, взбудоражив весь ряд. Тут Маяковский не выдержал:

— Это мне напоминает одного человека, который на вопрос «покажи свое левое ухо» делал так, — при этом Владимир Владимирович правой рукой через голову тронул свое левое ухо.

После этой фразы снова раздались аплодисменты.

— Ну, а теперь перейдем к делу, — сказал Маяковский. Уже в первом отделении слушатели стали забрасывать поэта записками. Он закончил читать «Хорошо!» и для разрядки ответил на несколько записок. Потом собирался снова перейти к стихам.

Раздался протестующий голос:

Не мотайте, отвечайте сразу!

Маяковский сдержанно-иронически:

— Товарищи! Разве можно сразу?

Он прочел два стихотворения, а затем, быстро перебирая записки, огласил наиболее интересные: «Кого вы считаете лучшим поэтом?»

Я лично полагаю, что автор этой записки, должно быть, предрешил ответ, ничуть не сомневаясь, что Маяковский смажет: мол, конечно, себя! Поддеть поэта доставило бы ему немалое удовольствие. Но он просчитался. Прозвучало нечто иное:

— Как вы себе представляете? Лежит пирог славы, и поэты бегут со взмыленными мордами — кто первый добежит, тому и достанется? Неправильно это, товарищи! Все работают по мере своих сил, возможностей и таланта. Для одного и того же дела — дела построения социализма. Все вносят свою лепту. И я тоже. Вот и все.

«Какого вы мнения о Полонском?» — Владимир Владимирович наставительно:

— Он и раньше писал ерунду, а теперь пишет гадости. У него куриные мозги.

О сцену с подозрительным звуком ударяется записка. Маяковский разворачивает ее и достает из бумажки копейку.

Летит следующая:

«Что вы хотели сказать тем, что выступаете без пиджака?»

— От жары, балда.

И опять знакомая записка:

«Маяковский, почему вы все хвалите себя?»

— Мой соученик по гимназии, Шекспир, всегда учил меня: «Никогда не говори о себе дурного, это всегда за тебя сделают твои товарищи», — и широким жестом обвел зал.

«На какую массу вы рассчитываете, читая ваши стихи?»

— На массу червонцев, — крикнул Маяковский, выбив у ретивого выскочки стандартный козырь.

«Владимир Маяковский, я вижу ты хорошо читаешь стихи и пишешь ты недурно, но не было у тебя на счет (*сохраняю орфографию автора записки. — П. Л.*) Мадам Кусковой взято из Пушкина, из „Евгения Онегина“ и переложено по-своему? Скажи, я спрашиваю, мне очень интересно, авось я что-либо у тебя перейму, ответь на это я прошу».

— Было взято и переложено. Теперь вопрос сводится к тому, в какой степени вы справитесь со своей задачей.

Гул одобрений.

Попалась очень длинная записка. Кто-то крикнул:

— Что вы так долго читаете? Пора отвечать!

— Что вы там орете? Пришли бы лучше помочь!

В гостиницу «Красная», где он остановился, приходило много людей. Но Маяковский выбирал время побродить по Харькову. Кстати, здесь он не пользовался транспортом, как, впрочем, и во многих других городах. Ему нравилось, что город строится, озеленяется. На месте вчерашнего пустыря появился сквер, улица покрывалась асфальтом. Владимир Владимирович радовался каждому из таких, казалось бы, скромных явлений.

Последнее выступление в Харькове состоялось в январе 1929 года. Поездка была рассчитана на 10–12 дней: Харьков, Полтава, Кременчуг, Николаев, Херсон и на обратном пути — опять Харьков.

14 января в предвечерние часы в клубе ГПУ он читал пьесу «Клоп», а вечером в театре — доклад «Левей Лефа».

Внезапно Маяковский предложил отменить все последующие вечера — сдал голос.

С трудом удалось уговорить его выступить завтра днем в Оперном театре — ведь соберется не менее полутора тысяч студентов,

А вечером этого же дня Владимир Владимирович уехал в Москву. Вероятно, можно было восстановить голос и на месте, а затем, перепланировав города и даты, так или иначе сохранить маршрут.

Но обстоятельства личного характера сложились так, что ему пришлось даже нарушить свои обязательства. (А ведь Маяковский был человеком точным и аккуратным.)

Причины срыва прояснились лишь через много лет, когда в «Русском литературном архиве» (Нью-Йорк, 1956) были опубликованы выдержки из писем Маяковского к Татьяне Яковлевой, жившей тогда в Париже.

В этой публикации говорится: «Еще накануне поездки в Харьков Маяковский телеграфировал Татьяне Яковлевой в Париж: „Начале февраля надеюсь ехать лечиться отдыхать необходимо Ривьеру“».

В эти же дни он отправил еще две телеграммы, адресованные Татьяне Яковлевой, которые так же, как и стихи, посвященные ей, невозможно читать без волнения:

«Твои строки это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная».

И вторая:

«Я бросил разъезжать и сижу сиднем из боязни хоть на час опоздать с чтением твоих писем. Работать и ждать тебя это единственная моя радость». За неделю до этого Маяковский писал ей: «Письма такая медленная вещь, а мне так надо каждую минуту знать, что ты делаешь и о чем думаешь. Поэтому

телеграмлю. Телеграфь. Шли письма — ворохи и того и другого». «Ты же единственная моя письмовладелица», — отвечает он на упреки за дни без почты. «Ты все говоришь, что я не пишу, а телеграммы собаки, что ли?».

Незадолго до этого он рассказывал ей о том, как шла работа над «Клопом» — в день первого чтения комедии труппе театра Мейерхольда: «Что о себе? Мы (твой фатерман и я) написали новую пьесу. Читали ее Мейерхольду. Писали по 20 суточных часов без питей и ед. Голова у меня от такой работы вспухла (даже кепка не налазит). Сам еще выценить не могу, как вышло, а прочих мнений не шлю во избежание упреков в рекламе и из гипертрофированного чувства природной скромности (кажется все-таки себя расхвалил?)

Ничего. Заслуживаю. Работаю, как бык, наклонив морду с красными глазами над письменным столом. Даже глаза сдали — и я в очках! Кладу еще какую-то холодную дрянь на глаза. Ничего. До тебя пройдет. Работать можно и в очках. А глаза мне все равно до тебя не нужны, потому что кроме как на тебя мне смотреть не на кого. А еще горы и тундры работы…».

Татьяна Яковлева уехала из России в Париж в 1925 году по вызову своего дяди, известного художника Александра Яковлева. (У нее началось в ту пору заболевание легких, и там она собиралась лечиться). Маяковский познакомился с ней в Париже 25 октября 1923 года и до дня своего отъезда из Франции (3 декабря) встречался с ней ежедневно в течение сорока дней.

Об этом рассказала мне мать Татьяны Любовь Николаевна; она же познакомила меня с письмами дочери. В одном из них, например, было написано: «Если я когда-нибудь хорошо относилась к моим „поклонникам“, то это к нему, в большей доле из-за его таланта, но в еще большей из-за изумительного и буквально трогательного но мне отношения. В смысле внимания и заботливости (даже для меня, избалованной) он совершенно изумителен».

С Любовью Николаевной я встречался неоднократно, и в последний раз — незадолго до ее смерти. Ссылаясь на письма дочери из Парижа, она рассказала многое из того, что проливает свет на факты, прежде непонятные нам.

В дни знакомства с Татьяной Маяковский посвятил ей два стихотворения: «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» и «Письмо Татьяне Яковлевой», которые он читал в дни праздника Октября перед советским землячеством в Париже.

Судьба первого обычна: оно было опубликовано у нас в начале 1929 года и с тех пор широко известно. Но мало кто знал

тогда, кому оно посвящено. Лишь в середине пятидесятых годов в журнале «Новый мир» в комментарии к стихотворению «Письмо Татьяне Яковлевой» говорилось и о том, кому посвящено «Письмо товарищу Кострову,…», т. е. раскрывалось имя Яковлевой. Кстати, у Яковлевой хранятся автографы обоих стихотворений, подаренные ей поэтом.

Таким образом, о существовании стихотворения «Письмо Татьяне Яковлевой» у нас стало известно из публикации в «Новом мире». До этого стихотворение было достоянием лишь узкого круга людей (кое-кто знал его, вероятно, с первых дней, другие же — после смерти поэта).

Незадолго до «Нового мира» оно впервые появилось в уже упомянутом томе «Русского литературного архива».

Татьяна жаловалась матери, что не все ее письма попали в руки Маяковского: «…Получаю бесконечные телеграммы — писем нет, тоскую». Или: «Только что получила от Маяковского книги, а вслед телеграмму, что он не получает моих писем. Это совершенно непонятно…»

Если предположить, что Маяковский не сумел ответить на то или иное письмо, то пробел этот с лихвой восполнили телеграммы, число которых достигло двадцати пяти, в период с 3 декабря 1928 года по 3 августа 1929 года, да еще семь писем, отправленных поэтом с 27 декабря по 5 октября. Сведения эти опубликовал Роман Якобсон в том же «Русском литературном архиве».

Не прошло и трех месяцев со дня разлуки, как Маяковский снова появился в Париже — в феврале 1929 года…

Таким образом, к причинам, побудившим Маяковского так решительно отменить все города вслед за Харьковом в январе 1929 года, надо отнести, конечно, болезнь горла[42].

Но, пожалуй, превалировала нервозность, вызванная отсутствием писем от Татьяны Яковлевой.

Вторая встреча с Татьяной ожидалась им с нетерпением, которое трудно переоценить: Маяковский выехал в Париж на следующий день после премьеры «Клопа» (13 февраля 1929 года).

Невольно вспоминаются строчки:

Вы / к Москве / порвали нить. / Годы — / расстояние. / Как бы / вам бы / объяснить, / это состояние? / («Письмо товарищу Кострову…») / Я все равно / тебя / когда-нибудь возьму — / одну / или вдвоем с Парижем. / («Письмо Татьяне Яковлевой»)

Теперь становится понятным душевное состояние Маяковского а те дни.

Уместно вспомнить, что, когда я впервые явился к матери Татьяны — Любови Николаевне Орловой, меня поразила

растерянность, с которой она, а точнее, они (мать и отчим) отнеслись поначалу к гостю (я ведь пришел без телефонного звонка и оказался первым человеком, заинтересовавшимся ее дочерью, стихами и всем тем, что помогло бы расширить круг сведений о поэте, отыскав эту семью в другом городе и мать Татьяны под другой фамилией: Орлова — по третьему мужу).

К тому времени в «Новом мире» уже было опубликовано стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой». Однако они сказали, что ничего не знают. Если даже предположить, что журнала Орловы действительно не читали, то они не могли не знать стихов, ибо Татьяна послала два беловых автографа двух стихотворений из Парижа в ноябре 1928 года.

Возможно, что им вспомнилось предупреждение Татьяны никому не показывать рукопись, пока стихи не появятся в печати, а может, были и иные, более сокровенные причины. Сам визит мой через тридцать лет после описываемых событий, конечно, не мог не взволновать и не насторожить их.

Я процитировал несколько строф из обоих стихотворений: «Письмо Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».

В дальнейшем я встречался с Орловыми в Куйбышеве неоднократно, и у нас завязалась переписка.

В тринадцатом томе полного собрания сочинений на странице 126-й в письме Маяковского из Парижа в Москву (1928 г.) он просит Л. Ю. Брик: «…Переведи, пожалуйста, телеграфно тридцать рублей — Пенза, Красная улица, 52, кв. 3 Людмиле Алексеевне Яковлевой».

Выход этого тома помечен 1961 годом. Казалось бы, сотрудники библиотеки-музея В. В. Маяковского после опубликования стихотворения должны были заинтересоваться адресатом.

Но, увы, сотрудники библиотеки-музея в Гендриковом, с которыми я беседовал по этому поводу, этого не сделали.

Тогда-то мне пришлось самому включиться в розыск.

Побывав дважды в Пензе, я сложными, окольными путями узнал о переезде Л. А. Яковлевой в другой город и о том, что она сменила фамилию по новому мужу. Впоследствии обнаружились «неточности» — в комментариях XIII тома — там сказано, что это имя принадлежит матери Татьяны, тогда как на самом деле имелась в виду ее сестра Людмила (они ее звали Лилей).

Фамилия же матери — Орлова — впоследствии была обнаружена в музее в одной из записных книжек поэта,

В XIII томе есть и другая «странная» описка. Там говорится, что «Татьяна выехала из Пензы в Париж по вызову отца». На

самом деле ее вызвал дядя, о котором я упоминал выше. Отец же развелся с женой, покинул Пензу после первой мировой войны и очутился в США, где через четверть века встретился с дочерью Татьяной.

Вернемся к поездке по Украине.

Поздней осенью 1926 года поезд привез нас в Полтаву.

На горе раскинулся, весь в зелени и огнях, красавец город. Лишь только пролетка тронулась, возница разговорился. Я спросил о здании, оставшемся внизу, у вокзала:

— Это, вероятно, клуб?

— Железнодорожный. Красивый, новый и знаменитый.

— Чем же он знаменит? — заинтересовался Владимир Владимирович. И возница рассказал, как три года назад кондуктор товарных поездов станции Полтава товарищ Терещенко приобрел облигации шестипроцентного займа и, не веря в свою фортуну, сдал их под ссуду в горфинотдел.

Держа в руках газету с таблицей, работник Учпрофсожа Скляренко спросил у Терещенко, нет ли у него с собой номеров облигаций. Кондуктор невнятно пробурчал что-то и бросил записную книжку: мол, не приставай, отвяжись.

Скляренко проверил таблицу и обнаружил выигрыш:

— Сто тысяч рублей!

Все завертелось, закрутилось. Право на получение выигрыша кондуктор потерял, так как просрочил выкуп облигаций. ВУЦИК разрешил ему выплатить, в виде исключения, 2 тысячи рублей. Остальную сумму передали Учпрофсожу на постройку клуба и больницы. На закладку зданий приезжал из Харькова Г.И. Петровский.

Шло время. Однажды Владимир Владимирович обратился ко мне с вопросом:

- «12 стульев» Ильфа и Петрова читали?

— Недавно прочел.

— Помните, там клуб?

— Конечно, помню.

— А Полтаву помните?

— А какая связь? — удивился я.

— У Ильфа и Петрова клуб выстроен на найденные ценности, а в Полтаве — на выигрыш. В романе талантливая ситуация, но придумана, а в Полтаве реальные деньги и реальный клуб.

Я стал соображать: Ильф уже тогда сотрудничал в «Гудке». Клуб железнодорожный? Значит, он об этом, безусловно, знал. Полтавский клуб явился, вероятно, одним из источников для финала «12 стульев».

Еще в конце июня Маяковский дал согласие выступать в

Донбассе и Харькове в конце июля 1927 года, с тем чтобы отсюда перебраться в Крым,

В июле ударила жара, и он заколебался. Я находился тогда в Севастополе и получил от него телеграмму из Москвы: «Считаю бессмысленным устройство лекции Харькове летом точка Предпочитаю лекции Луганске осенью точка Сообщите дни лекций Крыму точка Прошу отменить перенеся осень лекции Харькове Луганске точка Если отменить невозможно телеграфируйте срочно выеду Маяковский».

Я ухватился за последнюю спасительную фразу, весьма характерную для Владимира Владимировича, всегда точного и обязательного. Предыдущий план был оставлен в силе. Опасения Маяковского оказались напрасными. Всюду полно слушателей. А в Харькове летний театр вобрал народу больше, чем зимой,

Здесь встретился Семен Кирсанов. Он выступил в этот же день с Маяковским, потом в Донбассе и снова — в Харькове.

Луганский клуб металлистов был полон оба раза, когда там выступали поэты.

Луганск тогда выглядел значительно скромнее. Рабочий центр Донбасса, естественно, интересовал Маяковского. Невзирая на знойную погоду, Владимир Владимирович с младшим коллегой бродили, рассматривали, расспрашивали. Все было бы великолепно, кабы в гостинице не замучили клопы. Своего отвращения к ним, и больше того, своего страха перед ними, Маяковский не скрывал, недаром пьесу свою он назвал «Клоп». Не спали всю ночь. Маяковский и Кирсанов пробовали перебраться на пол, но насекомые и там их нашли.

Особенно быстро мы почувствовали «тропическую» жару, когда очутились назавтра в полдень на станции Дебальцево. Томились в ожидании поезда. Скучно и голодно. Буфет наводил тоску своей зияющей пустотой. Пошли в поселок. Не повезло и здесь. В одной столовой сказали: «Еще рано, нет ничего подходящего»; в другой, в частной, нет ни людей, ни блюд вовсе,

Внезапно все изменилось. Маяковский заметил разгуливающих по двору кур и весьма учтиво обратился к хозяину-грузину с просьбой приготовить вкусное блюдо. Как уроженец Кавказа, Владимир Владимирович имел пристрастие к традиционному грузинскому блюду. Владелец столовой проникся уважением к столь предприимчивому земляку, да еще сказавшему несколько слов на его родном языке, и мы на славу пообедали.

Через час-полтора решили направиться к нашему поезду, стоявшему на дальних путях, чтобы занять места. Но сначала — в камеру хранения, за вещами.

Внезапно неподалеку, на путях, возник паренек, бедно

одетый, босой. Владимир Владимирович позвал мальчика. Но тот не очень охотно приближался к нам, с опаской вроде.

— Мальчик, — сказал Маяковский, — сделай одолжение, помоги донести вещи. Мы тебе заплатим,

Но тот отказался. Маяковский снова стал уговаривать, убеждать:

— Ты не бойся, и вещи не такие тяжелые.

Но дети, как известно, не всегда в таких случаях доверяют взрослым, да еще такому здоровому дяде. Парню всего-то лет десять, не более. В конце концов нежные уговоры принесли желаемые плоды, и мы уже вчетвером добирались до цели.

Конечно же, в помощи парнишки мы вовсе не нуждались. Маяковскому была присуща неуемная страсть делать добро (широкая натура). Но ведь ни с того ни с сего ребенку не дашь денег, заденешь детское самолюбие. Он почтет за оскорбление, да и подозрительно как-то все выглядит в его глазах.

Владимир Владимирович отобрал скромную ношу — чемоданчик и еще что-то легкое.

Мальчика Маяковский отпустил, не входя в вагон, и вручил ему такую крупную купюру, которой он. быть может, и не держал никогда. Чувствовалась растерянность парня. Мы все хором его отблагодарили, а он молча, смущенный, сбежал, и «спасибо» застряло у него в горле. Сказка, да и только!

Пыльный поезд доставил нас с большим опозданием в Ясиноватую. Отсюда до Юзовки (ныне — город Донецк) около двадцати километров. Наняли тачанку. Возница заметил: есть две дороги — подлиннее и получше, покороче и похуже. Выбрали подлиннее. Тогда возница равнодушно добавил:

— Но здесь, бывает, и грабят!

Маяковский приготовил на всякий случай револьвер. Под сиденье потянулся и Кирсанов — вынул из чемодана допотопный наган, притом незаряженный. Наступила тишина. Больше, чем грабителей, мы боялись опоздать к началу. Так оно и случилось. Наконец, громыхая по мостовой, въезжаем на главную улицу. И прямо к цирку Шапито.

У входа толпа. Слышим: «Обманул, не приехал». Публика торопливо занимает места. Маяковский, наверстывая опоздание, сразу же включается в работу. Его голос сотрясает брезентовые своды. После нескольких вводных фраз он переходит к стихам.

Включается и Кирсанов. Аудитория удивлена: такой маленький, а какой темперамент, голос! Когда Кирсанов закончил, Маяковский — публике:

— Товарищи! Я считаю свое опоздание искупленным таким сюрпризом (указывая на Кирсанова). Слово теперь опять за мной,

а Сема пусть отдохнет.

Опоздание прощено и забыто. После вечера слушатели восторженно провожают поэтов.

В Харьков можно было возвращаться разными путями. Решаем — через Харцызск. С трудом разыскали машину. Ехать надо по проселочной, верст двадцать пять — тридцать. Жара неимоверная. Мотор барахлит. Лопаются камеры. Шофер идет на крайность — пытается добраться на ободах. Маяковский негодует: он не выносил, когда портили вещи.

Пока мы в Харцызске ждали поезда на Харьков, прибыл скорый Москва — Сочи. В окне вагона мелькнуло знакомое лицо — Всеволод Эмильевич Мейерхольд.

Я изо всех сил крикнул Маяковскому, но они успели лишь обменяться приветствиями. А вот и наш — на Харьков.

В международном оказалось свободных как раз три места. В вагоне Маяковский облегченно вздохнул:

— Товарищи! Трудно поверить… Роскошная жизнь… зеркала… сто лет не видал зеркал!

— Ездить подчас трудновато. Но у нас свое железнодорожное справочное бюро, — сказал Владимир Владимирович друзьям. — Вот задайте Павлу Ильичу вопрос, и он мгновенно ответит.

Начался экзамен: как проехать из Луганска в Чернигов? Назовите все без исключения станции от Харькова до Юзовки и обратно. От Москвы до Севастополя…

Мне надоело.

— Вам самому пора бы знать, — пошутил я.

— Я надеюсь на вас, — парировал Маяковский.

— Научитесь хотя бы ориентироваться.

— Вы опытом взяли, а мне надо учить, — ответил он. — Специально учить не хочу, я не маленький.

— Не прибедняйтесь, — продолжал я. — Ведь у вас огромная память. Вы помните несметное количество стихов.

— Знал когда-то всего «Евгения Онегина», да и сейчас большие куски помню, — подтвердил он.

Я тоже вспомнил юность и расхвастался:

— Когда-то знал наизусть всего «Мцыри» и «Медного всадника», даже пьесы, например «Ревизор», «Горе от ума». Да и сейчас прочитал бы два первых действия почти без запинки.

— Ну-ка, попробуйте!

— Просим! — поддержал присутствовавший при этом Валерий Михайлович Горожанин[43].

Я — на попятную, но бесполезно. Владимир Владимирович вошел в азарт:

— Буду читать без остановки столько же «Онегина», сколько

вы «Горе от ума».

Меня задело за живое: я полез в чемодан за Грибоедовым и демонстративно вручил книгу Маяковскому.

— Можете удостовериться.

Засекли время. Я читал наизусть Грибоедова в невероятном темпе, стремясь «уложить» в 15 минут первый акт, и, когда почти кончал его, Маяковский остановил меня:

— Трещит в ушах. Профанация искусства. Невозможно слушать. Условие нарушаю. За мной долг.

Впоследствии долг был оплачен: Владимир Владимирович читал «Евгения Онегина» минут десять, почти без осечки.

В «Комсомольскую правду» пришло письмо из Днепропетровска от комсомольцев Л. Авруцкого[44] и И. Анисайкина[45], которые просили редакцию командировать к ним их любимого поэта — Маяковского. И вот в лютый февраль 1928 года Владимир Владимирович в Днепропетровске. (Он уже был здесь полтора года назад). Из гостиницы «Спартак» его сразу повезли в битком набитом трамвае в райком металлистов. Там обсуждали, как лучше провести кампанию по заключению коллективных договоров.

Оттуда — на завод имени Ленина, куда явились и молодые рабочие с соседнего завода имени Петровского.[46]

Здесь, в большущем красном уголке трубного цеха, проходила конференция читателей «Комсомольской правды».

Выступил Маяковский.

Кто-то из ребят крикнул: «Как же вы будете читать под наши гудки?»

— Ничего, я гудкам не помешаю. Пусть гудят себе на здоровье!

Он призвал молодежь активнее участвовать в газете, рассказал о борьбе на поэтическом фронте, читал стихи.

Владимир Владимирович интересовался производственной и комсомольской работой. Он напомнил ребятам корреспонденцию «На правом берегу» (из Ленинграда), которая была опубликована в «Комсомольской правде» (о работе на фабрике «Красная нить»), и прочел в этой связи стихотворение «Гимназист или строитель»:

Были / у папочки / дети — / гимназистики. / На фуражке-шапочке — / серебряные листики. /… / Комса / на фабрике / «Красная нить» / решила / по-новому / нитки вить.

А конец такой:

Отжившие / навыки / выгони, выстегав. / Старье — / отвяжись! / Долой / советских гимназистиков! / Больше — / строящих / живую жизнь!

На конференции говорили о том, что необходимо

перестроить работу комсомольских организаций, о борьбе с так называемыми «мертвыми душами». Позже Маяковский написал стихотворение «Фабрика мертвых душ», сопроводив его любопытным эпиграфом:

«Тов. Бухов. — Работал по погрузке угля. Дали распространить военную литературу, не понравилось. — Бросил.

Тов. Дрофмзн. — Был сборщиком членских взносов. Перешел работать на паровоз — работу не мог выполнять. Работал бы сейчас по радио.

Тов. Юхович. — Удовлетворяюсь тем, что купил гитару и играю дома.

Из речей комсомольцев на проведенных собраниях „мертвых душ“ транспортной и доменной ячеек. Днепропетровск».

С завода, едва успев пообедать, — в театр имени Луначарского. Вечер озаглавлен: «Слушай новое!»

Владимир Владимирович переутомился, А ведь завтра Запорожье.

— Авось пройдет. Обидно срывать. Хочется и Днепрострой посмотреть.

Короткий переезд в Запорожье оказался тяжелым: холодный вагон, пересадка. Времени у нас в обрез. С вокзала — прямо выступать. По дороге Маяковский вспоминал:

— Здесь где-то, в Запорожской Сечи, проживал мой дед.[47]

Я — / дедом казан, / другим — / сечевик, / а по рожденью / грузин.

На кляче плетемся в нардом по Московской улице. Справа — небольшой дом, на который я указал попутчику:

— В этом доме, в году девятнадцатом, проживал Дыбенко, тот самый знаменитый, и знаменитая Коллонтай!

— Откуда у вас такие подробные сведения?

— Во-первых, об этом знал весь город, а во-вторых, я к этому дому имею непосредственное отношение. Мне он ближе, чем другим.

— А именно?

— Очень просто — я в нем родился, шестым ребенком в семье.

— Так этот дом вдвойне исторический. Вы помните что-либо из детства?

— Почти ничего, если не считать мелкого происшествия. Мне еще не было полных шести лет, когда я умудрился свалиться с яблони и, что примечательно, не стал калекой. Это событие определяет мой характер: не будь нахалом. Не лезь, коль не умеешь.

— Это правильно, я согласен. Но ведь каждый ребенок

должен непременно упасть. Я в детстве падал, дрался, прыгал в речку. Все это было в Багдади. И тоже избежал физических изъянов.

По окончании вечера Маяковского пригласили осмотреть Днепрострой.

— Сам мечтал об этом, но сейчас не выйдет. Плоховато себя чувствую. Высокая температура. Придется отложить до следующего раза: приеду к вам специально или загляну по пути в Крым.

И хотя Маяковскому так и не довелось побывать на Днепрострое, дух гигантской стройки пронизал своеобразные и целеустремленные строки, написанные еще в 1926 году:

…Где горилкой, / удалью / И кровью / Запорожская / бурлила Сечь, / проводов уздой / смирив Днепровье, / Днепр / заставят / на турбины течь.

Возвращаемся в Днепропетровск. Ни машин, ни извозчиков. Еле добрались до гостиницы на грузовике. Маяковский так ослаб, что мне пришлось ему помочь подняться на третий этаж.

Врач категорически запретил выступать: температура тридцать девять, грипп, ангина. Он обещал прислать медсестру. Маяковский котел заплатить за визит, но тот наотрез отказался.

— У таких — не беру. Я вознагражден знакомством с вами.

Когда врач ушел, Владимир Владимирович сказал шутливо:

— Какой симпатичный, а денег не взял.

Я сообщил о болезни двум клубам, ожидавшим сегодня встречи с поэтом. Спустя часа два, без всякого предупреждения, в номер явился незваный врач. Достаточно беглого взгляда, чтобы определить состояние больного, однако врач решил измерить температуру и долго выслушивал. Стало ясно: проверяет, не уклоняется ли от выступлений.

Маяковский и виду не показал, что понимает смысл этого визита.

Но когда врач ушел, Маяковский не выдержал:

— Вот что значит клевета!

Он, конечно, переживал связанные с его именем сплетни и обывательские разговоры. За внешним спокойствием он подчас скрывал горечь обиды и разочарования в людях.

Чтобы отвлечь больного, я, уцепившись за самое слово, стал напевать арию о клевете из «Севильского».

Клевета вначале сладко / Ветерочком чуть-чуть порхает / И как будто бы украдкой / Слух людской едва ласкает.

— Завидую вам. Если бы я мог выучить мотив, обязательно спел бы: хорошая песня. Прошу на бис!

— Это — не песня, это — ария, — возразил я.

— Поэма — тоже не стихотворение. Но это стихи. Только крупнее вещь. «Коробейники», например, — песня, но гораздо больше «клеветы». А полностью спеть «Коробейников» — целый день надо петь.

— Разница между песней и арией существенная, — попытался подвести я под это теоретическую базу. Потом, боясь залезть в дебри, я замолк. Дискуссия оборвалась. Я собрался в город. Маяковский с улыбкой напутствовал:

— Предупреждаю вас, что вы не должны покидать больного дольше чем на два-три часа, иначе я задохнусь от скуки. А то уйдете и пропадете на весь день.

— Сегодня явится еще сестра, — успокаивал я.

— Сестра сестрой. Отработает и исчезнет.

Десятки раз на день больной мерил температуру. Порой он ставил градусник по три-четыре раза кряду. Часто вынимал термометр раньше положенных минут, посмотрит на него, и обратно. Он разбил сперва свой термометр, за ним тот, который принесла медсестра. Раздобыли третий. И его постигла участь предыдущих. Только тогда интерес к температуре несколько снизился.

— Ирония судьбы, — улыбнулся Маяковский, — значит, пора выздоравливать.

Соблюдать предписанную врачом диету оказалось здесь нелегким делом. Владимир Владимирович решил ограничиться своим любимым блюдом — компотом. Он пригласил официанта и попросил, невзирая на февраль, добыть свежих фруктов.

— За любые деньги, но сделайте компот. И обязательно много, чтобы вышла большая миска.

Обычная порция компота стоила в ресторане 20–30 копеек. Он же вручил официанту невероятную, по тем временам, сумму — 20 рублей. Компот был сварен.

— Надеюсь, что вы не дадите мне лопнуть и осушите вместе со мной это море компота, — обратился ко мне Владимир Владимирович, увидя огромную миску.

Он заставил присоединиться к нам и медицинскую сестру. Но и с нашей активной помощью «компотное море» просуществовало целых три дня.

Болезнь Маяковского сказалась, разумеется, на его бюджете.

— Надо отнести в газету стихи[48], — предложил он мне.

— А сколько просить?

— Сколько дадут, но чтобы хватило на скромную жизнь, не считая компота. Между нами говоря, у меня есть такая мысль: всю свою продукцию сдавать в одно место, в Госиздат, например, а он пусть платит мне зарплату — ну, скажем, рублей пятьсот а месяц.

Я думаю, что в конце концов так оно и будет.

Прощаясь с медсестрой, Маяковский хотел заплатить ей за дежурство и за разбитый термометр сумму столь же необычную, как та, что он уплатил за миску компота. Сестра очень смутилась: «Я могу получить только по норме, термометр же каждый может разбить, а поэты тем более, они ведь рассеянные».

За два часа до отъезда из Днепропетровска он, не желая нарушить свое обещание, выступил у студентов-горняков.

Поезд подходил к Казатину. Мы вышли в тамбур. Вдоль вагона бежал какой-то человек и кричал: «Товарищ Маяковский, товарищ Маяковский!»

На встречавшем было пальто и два тулупа, полы которых волочились по земле.

— Товарищ Маяковский, я вас встречаю на замечательных розвальнях. Лошади прямо прелесть. Я сам доехал сюда почти за час. А вот вам тулуп, — сказал он срывающимся голосом, снимая с себя тулуп. (Второй был предназначен для меня).

Владимир Владимирович разозлился. До Бердичева — 25 километров. Директор бердичевского театра, куда мы сейчас направлялись, обещал в телеграмме непременно прислать закрытую машину. Маяковский слаб — держалась температура. А тут, как назло, в начале марта — мороз и вьюга. Маяковский решительно зашагал к вокзалу. Человек, который нас встретил, с трудом поспевая за ним, уговаривал:

— Если вы не поедете и сорвете вечер, меня снимут с работы. А до этого, если я приеду пустой, меня вообще разорвут на части. Сделайте это ради меня! Вы же понимаете — весь город ждет! У нас аншлаг — давно нет ни одного билета!

Я связался по телефону с Бердичевом. Обещали немедленно выслать машину. Представитель бердичевского театра, обескураженный, запахнул на себе оба тулупа и уехал.

В буфете Маяковский облюбовал аппетитный «хворост», запивая его далеко уже не первым стаканом чаю. Официантка косо посматривала на нас, беспокоясь: «Вдруг уедут и не рассчитаются». Она не раз намекала, что, мол, пора платить. Маяковский же, с изысканной вежливостью, разъяснял ей, что расчет производится по окончании, а не во время еды.

В буфет то и дело заглядывал мальчик лет десяти — продавец газет и журналов. На нем было дырявое пальтишко и худая обувь — не по погоде.

Он заходил в буфет в надежде, что найдет здесь покупателей. Да и нужно было обогреться.

Но в дверях — «заслон» в виде бородатого швейцара. Он смотрел на мальчишку недобрыми глазами и каждый раз при его

появлении, не раскрывая рта, издавал звук, похожий на длинное иш-ш-ш, что, видимо, должно было означать «п-ш-ш-ш-е-л». Пышные его усы при этом быстро поднимались, как у кота. И стоило ему шевельнуть усом, как мальчишка исчезал за дверью.

Маяковский несколько минут наблюдал эту сценку, потом забасил:

— Мальчик, есть свежие газеты?

— Нет, только вчерашние.

— Их-то мне и надо! Иди сюда! — позвал он.

Не пошло и минуты, как мальчик сидел за нашим столом и, помешивая ложечкой в поставленном перед ним стакане, торжествующе, но вместе с тем не без оттенка беспокойства поглядывал на швейцара.

Владимир Владимирович угощал его и просматривал литературу, которую он продавал.

Маяковский предлагал разные комбинации: «За мои три журнала дай мне один свой, и я тебе еще приплачу». Или: «За один мой журнал дай мне две газеты». Мальчик подолгу обдумывал каждый вариант и неизменно отвергал его. Он боялся, вероятно, подвоха, и чем выгоднее была комбинация, тем она казалась подозрительнее. Тогда Маяковский пошел в открытую: он обобрал десяток газет и журналов, уплатил за них, подарил мальчику почти все свои журналы и дал ему еще в придачу несколько рублей.

Надолго, должно быть, запомнил парень этого необыкновенного проезжего, этого доброго и отнюдь не сказочного Деда-мороза.

Маяковский любил просматривать журналы, даже технические, и быстро находил то, что его интересовало. И теперь он погрузился в чтение. Буфетную тишину нарушил звон колокола, вслед за которым должно было, как обычно, раздаться: «Первый звонок! На Одессу! Поезд стоит на второ-о-о-м пути!» (Это был предшественник громкоговорителя.) Но, ко всеобщему удивлению, швейцар хриплым басом проскандировал: «Товарища Маякокого требует к телефону председатель бердичевского исполкома!»

Народ зашевелился. Кое-кто, возможно, знал это имя, другие — узнавали от соседей. Да и сам по себе человек, направляющийся к телефону, привлек внимание пассажиров.

От телефона Владимир Владимирович вернулся с хорошими вестями: полчаса назад предисполкома выслал свою машину и уверяет, что публика не разойдется.

Прошло больше часа. Звоню в Бердичев. Выясняю, что машина опрокинулась в кювет и пострадала кассирша театра,

«Сама напросилась ехать, — сообщили мне потом. — Такой редкий случай: заранее распродать билеты, прокатиться в машине и первой увидеть Маяковского».

Оставался только один выход: отправиться поездом а 10 часов 40 минут вечера. Можно ли, однако, надеяться на чудо, на то, что публика не разойдется и будет ждать с 8 почти до 12 ночи?

Но чудо свершилось!

Маяковский прежде всего спросил директора театра:

— Сколько народу ушло?

— Человек тридцать-сорок.

— Значит, они меньше всего интересуются стихами. Не жалко — скатертью дорога! А те, кто остался, — это настоящая публика. Перед ней приятно и почетно выступать.

Полтора часа он держал аудиторию в радостном напряжении, отказавшись, с ее разрешения, от перерыва. И слушатели, судя по реакции, были вполне вознаграждены за муки ожидания. Был доволен и Маяковский.

Когда Владимир Владимирович звонил в Москву, он прежде всего рассказал об этом случае.

Гостиница в Бердичеве переполнена. Нас устроили в частном «приезжем доме», в комнатке, где не помещались даже две кровати. Подали чай.

— Комната крохотная, а самовар — наоборот! Подумаешь, тоже Тула, — смеялся Маяковский.

Наутро первый вопрос:

— Вы не знаете, что интересного а Бердичеве?

— В местном костеле венчался Бальзак.

— Не будем терять времени, пройдемся, посмотрим костел.

Часа через два мы — в Житомире.

Отдохнув с дороги, Маяковский направился в театр. За кулисами он разговорился со стариком сторожем, который рассказал ему чуть ли не всю столетнюю историю театра:

— Здесь играли крепостные актеры, в ложах восседали царские губернаторы, побывали здесь и белогвардейцы, и немцы, и гайдамаки, и поляки. Много разных знаменитостей бывало.

— Ну, дедушка, таких, как я, наверное, не было.

— Не знаю. Вот послушаю — скажу.

Маяковский начал свое выступление пересказом этого разговора. Необычно, интересно, оригинально и смешно. Этот зачин дал тон всему вечеру.

Завтра — вечер в Киеве.

Ненадолго — Москва и снова — в Киев.

Расположившись в купе, Маяковский извлек газеты и

журналы. Среди них — «Новый мир» № 2 (вышедший с опозданием). Листая журнал, он вдруг громко и весело произнес:

— Бабель. «Закат». Пьеса в восьми сценах. Поначалу я думал, что он просто читает оглавление. Но дальше последовало:

— Действующие лица… (Он прочел полностью.) Действие происходит в Одессе, в 1913 году. Первая сцена…

И тут случилось неожиданное. Сюрприз из сюрпризов.

Маяковский не только читал, но и изображал, играл, часто опуская имена. Он повторял отдельные места, хлесткий фразы.

После трех первых сцен он сделал маленький перерыв, а потом дочитал пьесу до конца.

— Это здорово — ничего не скажешь! — заключил он. — Если б только смогли поставить по-настоящему. Это первосортная драматургия.

В Киевском доме коммунистического просвещения собралось много молодежи. Украинская газета «Пролетарская правда» писала в отчете: «Все места заняты, в проходах стоят, всю эстраду обсели, на рояль навалились, под рояль залезли, негде одежду вешать, так что раздевались у порога».

В Киеве Владимир Владимирович побывал на строительстве кинофабрики, встретился с рабочими заводов «Ленинская кузня» и «Большевик», читал стихи по радио. Он придавал большое значение выступлениям по радио и говорил, что радио с лихвой заменит малотиражные издания его книг.

Что запомнилось в Виннице?

Неуютный и тесный вокзал. Кто-то энергично плюет на пол.

Маяковский пытается пристыдить этого человека и советует ему воспользоваться урной. Тот не обращает внимания. Маяковский повышает голос:

— Какая гадость — плевать на пол! Я понимаю — плюнуть в лицо, когда есть за что!

Впоследствии в афише появился заголовок: «Как плюются в Виннице», а на литографском плакате — стихи:

Омерзительное явление, / что же это будет? / По всем направлениям / плюются люди. /… / Товарищи люди, / будьте культурны! / На пол не плюйте, / а плюйте / в урны.

— Удивительно, такой небольшой — и такой грязный городок! А сколько гигиенических парикмахерских: почти на каждой улице «Перукарня»! — сказал Маяковский. — Я насчитал их двадцать три от вокзала до гостиницы. Если не верите — сами подсчитайте. Прямо-таки-«падоракс»! (*Это означало парадокс. — П. Л.*)

— Вы знаете, целые дни звонят: приехал или не приехал? Теперь мы сможем наконец-то ответить, что приехал, — сказал в

Одессе дежурный «Лондонской» гостиницы. (Из-за болезни Маяковского выступление отменялось уже два раза.)

Но телефон в Одессе — еще не факт, — закрепил свою мысль дежурный.

Многие приходили в гостиницу, чтобы лично удостовериться, приехал ли Маяковский. И лишь убедившись, стали раскупать билеты.

Близилась весна. Владимир Владимирович с балкона своей комнаты часами любовался морем.

Пришел гостивший у родных Кирсанов. Маяковский пригласил его выступить сегодня вместе с ним в зале горсовета.

Помню, как Маяковский раскрывал некоторые интригующие тезисы афиши «Слушай новое», такие, например, как «Слово читаемое и слышимое», «Альбом тети или площадь Революции»:

— Стихи я пишу в основном для чтения вслух. И в процессе работы чувствую, как они будут звучать. Я считаю, что в наши дни стихи должны быть рассчитаны главным образом на слуховое восприятие — не для альбома тети, а для площади Революции. Это есть целевая установка. О другом тезисе: «Есенин и есенинчики», «Социальный заказ» — Маяковский говорил:

— Появилась целая армия есенинчиков. Поэты, подражая Есенину, подпадают под его упадочнические настроения. Подражать здесь нечему. Надо бороться с этим поветрием. Бороться новыми революционными стихами. Надо не дожидаться социального заказа, в том смысле, что тебе позвонят и закажут, а самому стараться опережать этот заказ. Поэт должен жить сегодняшним днем и помогать стране строить социализм.

В афише значилось: «Понимают ли нас крестьяне и рабочие?»

— Мы стараемся писать проще и понятнее, — разъяснял Маяковский. — Нельзя сказать, что все стихи одинаково понятны всем. Поэты должны стремиться писать и для людей, обладающих малым запасом слов. Авангард рабочего класса, передовые крестьяне — понимают. Нельзя забывать и того, что культура в нашей стране растет, и таким образом, наши вещи со временем будет читать все большее количество рабочих и крестьян.

Одесский медицинский институт был буквально осажден молодежью, желающей попасть на вечер.

Кто-то крикнул изо всей силы: «Дивчата, сидайте хлопцам на колени, иначе ничего не выйдет!» Но и это не помогло: зал, рассчитанный на 400 человек, уже вобрал свыше тысячи. Слушатели разместились и под столом. Маяковского и Кирсанова прижали к трибуне. Пот лил с них градом.

Возможно, по уплотненности зала, этот вечер был рекордным в практике поэта.

После вечера, когда мы остались одни, я показал свой ботинок с оторванной подметкой.

Маяковский рассмеялся:

— Вот оно что значит: «На ходу подметки рвут».

В Одессе сумели доказать, что такое действительно бывает.

Высокий Маяковский и низенький Кирсанов (провожавший его) шагали по перрону до самого отправления поезда в Москву и о чем-то горячо говорили.

От Киева до Москвы нашей попутчицей оказалась киноактриса Юлия Солнцева.

Маяковский пригласил ее к нам в купе из соседнего вагона. Проводник требовал, чтоб она вернулась к себе: «Не имеет права переходить в вагон высшей категории». Владимир Владимирович не соглашался с прихотями проводника и принципиально не отпускал Солнцеву, уговаривая ее остаться. Солнцева спросила Маяковского: «Почему вы выходите на каждой станции?»

— Я должен все знать, иначе мне неинтересно.

В Москве Маяковский предложил «не ждать у моря погоды» — то есть такси, а взять извозчика.

— Успокоительная процедура!

С Киевского вокзала путь порядочный — за Таганскую площадь. У Бородинского моста Владимир Владимирович с увлечением рассказывал о побеге политкаторжанок из женской Новинской тюрьмы:

— Это было в 1909-м. Я сам принимал участие. Помогали мама и сестры. Они сшили гимназические платья для каторжанок.

Он жадно смотрел по сторонам. У Смоленского рынка его взгляд остановился на большущем рекламном щите.

— Когда въезжаешь в город, сразу па афишам чувствуешь, чем он дышит. Я прочитываю почти все афиши. Представьте: вдруг со щитов исчезли бы все афиши — впечатление вымершего города.

ОТДЫХАТЬ НЕКОГДА!.

На юге Маяковский бывал ежегодно, хотя ни Крым, ни Кавказ не были для него просто курортом. «Отдыхать некогда!» — говорил он.

Здесь он работал, подчас не менее интенсивно, чем в Москве. Лишь одному Крыму, например, посвящено тринадцать стихотворений, написанных в Крыму. Тут же он заканчивал в 1927 году поэму «Хорошо!» и создал многие другие произведения.

Я езжу / по южному / берегу Крыма, — / не Крым, / а копия / древнего рая! / Какая фауна, / флора / и климат! / Пою, / восторгаясь / и озирая. / Огромное / синее / Черное море.

А в другом стихотворении о Крыме:

Хожу, / гляжу в окно ли я — / ЦВЕТЫ / да небо синее, / то в нос тебе / магнолия, / то в глаз тебе / глициния.

Маяковского спрашивали;

— Почему вы так много выступаете на курортах? Это пахнет гастролерством.

— У товарищей неправильный взгляд на курорты. Ведь сюда съезжаются со всего Советского Союза. Тебя слушают одновременно и рабочие, и колхозники, и интеллигенты, Приходят люди из таких мест, куда ты в жизни не попадешь. Они разъедутся по своим углам и будут пропагандировать стихи, а это — моя основная цель. Почему-то существует еще до сих пор неправильное мнение о курортах: как будто там отдыхают только привилегированные. Посмотрите, кто теперь в домах отдыха и санаториях. Вот для них я и выступаю и думаю, что делаю неплохое дело.

В Ялте я показал Владимиру Владимировичу выписку из протокола заседания Совета Народных Комиссаров Крыма.

Он обрадовался:

— До чего приятно! Специально слушают в Совнаркоме! О чем? Об освобождении лекций Владимира Маяковского от налогов! Постановили… Что постановили? Принимая во внимание агитационно-пропагандистское значение… освободить! Дайте еще раз посмотреть! Поймите — это сильно. Значит, я нужный поэт.

Из Ялты в Симферополь он приехал с художником Натаном Альтманом. Они поселились в одном номере: Маяковский не отпускал от себя людей, которых любил. Он был неразлучен с Альтманом, и тот присутствовал почти на всех его вечерах.

Возвращаясь из Ливадии в Ялту, мы распевали песни

(впрочем, крику было больше, чем пения). Я пытался петь на «вольные» мотивы стихи Маяковского. Кое-что ему нравилось, и он даже подпевал. А иногда ни за что не желал мириться с «подтасовкой». Его любимая ария «Еще одно последнее сказанье…» сменилась «Гренадой» Светлова.

— Здорово сделана вещь! Люблю!

«Гренаду» мы пели на мотив «Яблочка». Увлеченно и вместе с тем сдержанно. В одном месте в перебил:

— У Светлова «ответь, Александровск, и Харьков, ответь…», а вы поете «скажи, Александровск».

— Это я нарочно. Так лучше. Остальное все хорошо.

В другой раз мы неслись в открытой машине из Севастополя. Возникли Байдарские ворота, о которых сказано так точно и выразительно:

И вдруг вопьешься. / любовью залив / и душу, / и тело, / и рот. / Так разом / встают / облака и запив / в разрыве / Байдарских ворот. / И сразу / дорога / нудней и нудней…

В том месте, где дорога пошла «нудней и нудней», Владимир Владимирович открыл железную коробку (в ней оставалось несколько папирос) и тут же закрыл ее:

— Бросаю курить! — крикнул он. И коробка летит в море. (Конечно, до моря далеко — оно только кажется рядом.) Именно после этого и родились строки:

Я / сегодня / дышу как слон, / походка / моя / легка, / и ночь / пронеслась, / как чудесный сон, / без единого / кашля и плевка. /… / Граждане, / вы / утомились от жданья, / готовы / корить и крыть. / Не волнуйтесь, / сообщаю: / граждане — / я / сегодня — / бросил курить.

В Кисловодском «Гранд-отеле» для Маяковского и его спутников — Натальи Брюхоненко и Валерия Горожанина — были забронированы три номера. Я приехал туда на 5 дней раньше. Встретив знакомого артиста-певца, который слонялся в поисках ночлега, я предложил ему поселиться пока в номере, предназначенном для Маяковского. Сам я тоже перешел туда — за компанию.

На рассвете нас разбудил стук в дверь. Оказалось, Маяковский с друзьями приехал раньше, чем я рассчитывал. Я, естественно, очень смутился и сказал, что мы сейчас же перейдем в другой номер.

— Ни за что! Вы с ума сошли! Продолжайте спать, — успокаивал меня Владимир Владимирович. — Дайте только ключи от других комнат.

И, извинившись за ранний визит, он ушел в мой номер.

Небольшое отступление.

Второго сентября 1927 года, точнее — в ночь на третье произошло землетрясение в Крыму.

Маяковский за несколько часов до этого отплыл из Ялты в Новороссийск. Казалось, повезло. Но не совсем. Землетрясение настигло его в открытом море. Ночью внезапно разыгрался сильнейший шторм. О том, что ночью было землетрясение, пассажиры узнали лишь днем в Новороссийске.

Маяковский и его попутчики испытали мытарства переезда: из Новороссийска до Тихорецкой, снова ожидания, отсюда до Минеральных Вод и в ночь добрались до Кисловодска.

Газеты пестрели сообщениями о крымском несчастье.

В стихотворении «Солдаты Дзержинского» есть такая строка:

Будут / битвы / громче, / чем крымское / землетрясение.

А вскоре за этим событием появилось стихотворение «Польза землетрясений». Оно кончалось так:

Я землетрясения / люблю не очень, / земле / подобает — стоять / Но слава встряске — / Крым / озабочен / больше, / чем не ять.

Удалось провести лишь одно выступление — в Пятигорске. Маяковский заболел сильнейшим гриппом. Остальные вечера пришлось переносить и отменять.

Железноводская публика узнала об отмене вечера перед самым началом. Все билеты проданы. Назревал скандал. Отдельные лица в толпе особенно рьяно подстрекали остальных: «Ничуть не болен!», «Передумал!», «Знаем мы эти болезни!»

Чтобы не огорчать больного, я скрыл всю эту историю, хотя он живо интересовался подробностями. Через несколько дней до него все же дошли слухи о скандале.

Накануне ко мне приехала из Москвы знакомая, и мы навестили больного. Гостья вскоре удалилась, а я остался. Маяковский ко мне а упор:

— Где вы нашли такую красивую жену?

Я пытался отшутиться: Во-первых, как правило, жен не ищут, во-вторых, она пока не жена, а кандидат в жены — невеста, мы еще не расписались, и, наконец, главное, не я ее искал, а она меня нашла, В Москве она сняла угол в квартире, где я живу, на Таганке.

Однажды, когда я возвратился домой из поездки, хозяйка меня, с места в карьер, заинтриговала: «Когда придет с работы моя новая квартирантка, то я за вас не ручаюсь!»

— Мне все ясно. Крепко вас поздравляю, — уверенно заключил Владимир Владимирович.

Хозяйка и Маяковский оказались правы: вскоре мы поженились.

В Ессентуках и Кисловодске менялись дни и часы выступлений (непривычное время — пять часов). Пока печатались новые афиши, решили срочно сделать наклейки на старые.

Маяковский частенько вникал в детали «производства». Вот и здесь Владимир Владимирович включился в работу. Написав один внушительный плакат, он, стоя на коленях, засучив рукава, принялся за наклейки. Он писал с невероятной быстротой и раскладывал их на полу для сушки. Папиросный окурок заменил ему кисть, а чернила — краску.

— Это детские игрушки по сравнению с «Окнами РОСТА», — сказал Маяковский.

В 1929 году Владимир Владимирович, нарушив традицию, решил ехать сначала на Кавказ.

В первых числах июля я шел в Москве по Солянке, держа кулек с клубникой. Из-за угла — Маяковский. Рука моя испачкана ягодой, и я не протянул ее, а сделал извинительный жест.

— Так как я в принципе против рукопожатий, то это даже кстати, — сказал он. — Как жена, ребенок? Когда вы, наконец, уедете в Сочи?

— Эту клубнику я несу в родильный. Завтра выписываю жену и исчезаю из Москвы.

— Значит — договорились? Еще раз поздравляю! Имя уже придумали? Советую обязательно назвать его Никитой или Степаном. Вот у Шкловского есть Никита, и он не жалуется. Замечательное имя! Поверьте мне! Ну, пора! Торопитесь, умоляю! До свидания в Сочи!

Спустя несколько месяцев я снова шел по Солянке, но теперь с ребенком на руках. Маяковский проезжал в «Рено» и, открыв дверцу, на ходу крикнул:

— Привет, Никита!

В Сочи, поселившись в скромном номере «Ривьеры», Маяковский тотчас достал из чемодана каучуковую ванну (это был большой, складной таз с громким именем «ванна») и попросил у горничной горячей воды. Та всплеснула руками:

— Просто удивительно! Вздумали в номере купаться! Кругом море, а они баню устраивают!

Маяковский вежливо уговаривал ее:

— Не понимает девушка, что в море основательно помыться невозможно. Грязь может долипнуть еще.

После процедуры он оделся особенно тщательно.

— Хочу выглядеть франтом. — И игриво: — Недаром я мчался в Сочи.

— Вы ведь против франтовства? — заметил я.

— Бывают в жизни исключения. Еду к девушке. И вообще, для

разнообразия можно иногда шикарно одеться!

И посоветовался, какой галстук повязать…

В кафе повезло: подали «хворост» и любимое розовое варенье.

— Моя мама делает розовое варенье — это вещь! Недавно подарила мне большую банку, — поведал Владимир Владимирович.

К столику подсели артисты Большого театра Мария Рейзен, Леонид Жуков и иже с ними. Маяковский просил заменить розетки настоящими блюдцами, а то «негде размахнуться».

Ему приятна была встреча с сестрой Людмилой Владимировной здесь, в поездке. Он пригласил ее на свой вечер.

В летнем сочинском кинотеатре люди сидят, стоят и висят (на заборе и на деревьях за забором).

Афиша гласила: «Леф и Реф — новое и старое — стихи и вещи». Под «вещами» в данном случае подразумевались крупные произведения.

Маяковский читал отрывки из первой части «Клопа». Ярко, в образах, исполнил он три картины, почти не повторяя имен действующих лиц.

Попутно приведу такой разговор. Когда приближалась премьера «Клопа» в театре Мейерхольда, Маяковский неожиданно спросил меня:

— Как, по-вашему, лучше назвать пьесу: «Клопы» или «Клоп»?

Подумав, я ответил:

— Конечно, «Клоп».

— А почему так?

— А потому, что «Клопы» — это нечто массово-стихийное, название само по себе уже отпугивает, шокирует зрителей. А «Клоп» не так страшен, и это — обобщенно и вместе с тем более конкретно и точно. Есть другая сторона дела, чисто формальная: четыре буквы лучше читаются и выигрышнее на афише, чем пять.

— Я тоже склоняюсь к «Клопу», небольшие колебания были, и я решил проверить на людях. Все в основном за единственное число. Твердо остается «Клоп».

В сочинской афише были сокращены все названия стихотворений: «Товарищу Нетте — пароходу и человеку» называлось просто «Нетте», «Сергею Есенину» — «Есенину». Все заграничные стихи шли под общим заголовком — «Разная эаграничность». «Стихи о советском паспорте» вовсе не значились, но он их читал неизменно.

Маяковский говорил незадолго до смерти, что он собрал чуть ли не 20000 записок. Скорей всего, что это лишь свойственная поэту гипербола. Но если реальна лишь половина этого количества, то и тут есть что почитать и над чем задуматься.

Говорил Владимир Владимирович и о том, что он собирается написать книгу под названием «Универсальный ответ записочникам». И хотя уже был составлен план работы, к сожалению, замысел остался неосуществленным.

Иногда казалось, что одно и то же лицо настигает Маяковского в разных городах — до того были порой похожи одна записка на другую. Он разил таких «записочников» острым словом, но они всплывали снова и снова.

Нередко во время выступлений вырастала гора записок. Ответы на них занимали порой столько же времени, сколько и сам разговор-доклад. Записочный ажиотаж переходил подчас в перепалку. Выкрики с мест сливались в нестройный гул смельчаков-задир.

Однажды поэт не без огорчения сказал:

— Товарищи! Я прекрасно понимаю, что ругательные записки пишутся одиночками, а не всем залом, но и над ними я потею достаточно, чтобы доказать, рассказать и оправдаться!

Приведу ответы на своеобразные, специфические, я бы сказал, курортно-развлекательные записки:

«Утверждают, что вы почти не пользуетесь трамваем и очень редко ходите пешком. Как же вы передвигаетесь?»

— Товарищу, очевидно, хочется, чтобы я ему открыл тайну моего заграничного автомобиля.[49] Но он задает вопрос ехидно и трусливо. Дорогой товарищ, я даже не затрудню себя специальным для вас ответом, ибо на случай таких дурацких вопросов и сплетен у меня есть уже готовый стихотворный ответ:

Не избежать мне / сплетни дрянной. / Ну что ж, / простите, пожалуйста, / что я / из Парижа / привез Рено, / а не духи / и не галстук.

«Вы считаете себя хорошим поэтом?»

Маяковский — резким тоном, во весь голос:

— Надоело! Мне наплевать на то, что я поэт! Я прежде всего считаю себя человеком, посвятившим свое перо сегодняшнему дню, сегодняшней действительности и ее проводнику — Советскому правительству и нашей партии!

«Почему провалился „Клоп“?»

— Клопа-то поймали, а вы со своей запиской действительно провалились.

А вот записка, которую он неожиданно оглашает нарочито пискляво:

«Голос ваш сочен, / Только противен на вкус. / Потому-то я в Сочи / Вами не увлекусь».

— Это результат прямого воздействия южного климата.

«Почему вы так много говорите о себе?»

— Я говорю от своего имени. Не могу же я, например, если я полюбил девушку, сказать ей: «Мы вас любим». Мне это просто невыгодно. И наконец, она может спросить: «Сколько вас?»

Последние два слова он уже кричит а рупор из сложенных ладоней.

«Почему вы так свободно себя держите? Ваш доклад — скорее веселое времяпрепровождение».

— Я стремлюсь к тому, чтобы мой доклад был живым, а не сухоакадемическим и нудным. И думаю, что мне это до некоторой степени удается. Я вообще считаю, что надо стремиться жить и работать весело. Если бы мое выступление было неинтересным, народ уходил бы. Но, как видите, никто не уходит. Впрочем, я должен сознаться, что однажды был такой случай — женщина поспешно покинула зал. Мои огорчения быстро рассеялись, как только я узнал, что ей вышло время кормить ребенка.

Гнусавый фальцет, сидевший у самой сцены, глядя в глаза поэту и жестикулируя, решил его пристыдить:

— Бросьте, это вы уже говорили в Киеве!

— Вот видите, товарищ даже подтверждает этот факт!

Эффект необычайный — раздались аплодисменты, дружно и долго смеялись.

«Ваши стихи непонятны массам».

— Что значит «непонятны»? Смотря для кого. Даже центральная газета, например, не может быть понятна буквально всем. Имеются разные газеты: специально «Крестьянская газета» и другие. Нельзя писать стихи для людей, имеющих в своем арсенале триста слов. ЦК партии в двадцать третьем году направил одного товарища обследовать Воронежскую губернию. В то время в Москве была сельскохозяйственная выставка. Оказалось, что крестьяне не понимают, что такое павильон. Только один сказал, что он понимает. Когда у него спросили: «Что же такое павильон?» — он ответил: «Это самый главный, который всеми повелевает». Шекспир знал двадцать тысяч слов. Мы с вами знаем тысяч десять. А некоторые — только триста. Разберитесь. Но все же я стараюсь писать и для людей, обладающих малым запасом слов. В дальнейшем буду стараться больше работать в этом направлении.

Маяковский рассматривает новую записку:

— Опять стихи! Не знаешь, куда скрыться от них!

«Приветствую душой вас, Маяковский! / Как рад… Приветствую сто раз! / О, я себе завидую чертовски, / Что наяву пришлось увидеть вас! / Подумать, современного поэта / Желает всяк по-своему воспеть, / И я, пока душа еще согрета, / Весь

трепещу при имени „поэт“. 22.VII И.А. Базов»

Пауза. Маяковский говорит:

— Прошу соседа облить Базова холодной водой, чтоб не так «трепещал».

«Почему вы не читаете по радио?»

— Это — умная записка. По радио я читаю, но мало. Постараюсь больше читать, это очень нужное и важное дело.

В Хосте в то время отдыхали артисты-москвичи (Е. Илющенко, Н. Михайловская, Анель Судакевич, Асаф Мессерер, Ал. Царман и другие). Туда же должна была приехать знакомая Маяковского актриса Вероника Полонская; к ней и направился Владимир Владимирович сразу же по приезде в Сочи, но не застал ее: она появилась несколькими днями позже.

Хоста сегодня — это большой благоустроенный курорт, младшая сестра Сочи. Тогда же это было село, лишенное примитивного комфорта. Здесь не было даже настоящего клуба — а был полутемный сарай мест на 250. И в этом так называемом клубе сельсовета не набралось и половины зала.

Маяковскому никогда не приходилось выступать в таких условиях. Он был явно не а духе. Но артисты дружной компанией заняли первые места и сразу внесли оживление.

Да и сам поэт оживился.

— В темноте, да не в обиде, — начал он. И все пошло непринужденно и весело.

Не повезло и в Гаграх: дождь отпугнул и без того туго раскачивающуюся публику.

Владимир Владимирович приехал из Сочи с артистами Анелью Судакевич и Асафом Мессерером. Долго обсуждали: быть или не быть вечеру — ведь кинотеатр открытый. И только перед самым началом дождь прекратился, и «кворум» набрался.

Рядом, в киоске, продавались фотографии артистов. Маяковский закупил все открытки киноактрисы Анели Судакевич, и мы с любопытством наблюдали, как он, стоя у кассы, премировал ими тех, кто покупал билет на его вечер. Вслед за этой шуткой последовала другая. Он встал у входа и с озорством обрывал билеты.

Когда он, наконец, взобрался на эстраду, из публики раздался голос:

— Довольно дурака валять! Пора начинать! Деньги брали, а толку не видно!

— Кто хочет уходить, не задерживаю! Получите три рубля и не мешайте. Передайте ему, — он достал деньги и протянул в публику. — Пусть кассирша не волнуется, я из своего кармана. Что же вы испугались? Получайте! — не отставал Маяковский.

Человек, к которому он обращался, подошел к эстраде. Публика зашевелилась. Кто-то крикнул:

— Самый дорогой билет стоит полтора, а он сидит за полтинник.

— Пусть знает мою доброту и запомнит, что на Маяковском никогда не прогадаешь, а можешь только заработать!

Тот, кто получил три рубля, хотел было уже остаться, но публика смотрела на него так, что он вынужден был покинуть зал.

Любопытная деталь. За соседним столиком «Восточного ресторанчика», куда мы перекочевали после вечера, сидел тот самый бузотер. Надо полагать, что он все же прошмыгнул в зал. Теперь, после вечера, на трешку Маяковского он приготовился «кутить». В его адрес полетели шутки, уколы, насмешки. Это оживило нашу и без того оживленную компанию.

Маяковский вернулся в Сочи поздно ночью. Гостиница была уже заперта, и его долго не впускали. Владимир Владимирович прибегнул к помощи дежурного милиционера.

На следующий день он потребовал жалобную книгу. Запись кончалась так: «Зав. мне сообщил, что выходить после часа незачем, а если я выйду, то никто мне открывать не обязан, и если я хочу выходить позднее, то меня удалят из гостиницы.

Считаю более правильным удаление ретивого зава и продолжение им работы на каком-нибудь другом поприще, связанном менее с подвижной деятельностью. Например, в качестве кладбищенского сторожа.

Вл. Маяковский. 27. VII-29 г.»

Последние выступления Маяковского на Кавказе состоялись в Сочи перед пограничниками и в Мацесте.

После встречи с пограничниками Маяковский поехал в Хосту за Вероникой Полонской и оттуда с ней — на выступление в Мацесту и, против обыкновения, опоздал.

Он очутился на плоской крыше высокого санаторного корпуса — это был местный курзал.

Непривычно было выступать в таких условиях: над тобой — полная луна, внизу — море, кругом — народ! Несколько минут поэт осваивался. Потом привык и читал, быть может именно благодаря такой обстановке, с особенным увлечением.

Здесь хочу остановиться подробнее вообще на авторском чтении и на интерпретации произведений поэта чтецами.

Меня натолкнули на эту мысль некоторые статьи о Маяковском, в которых заучат сетования на то, что Маяковский великолепно читал свои стихи, но почему-то никто не рассказывает, как именно он читал. С этим полностью

согласиться трудно. Есть высказывания Игоря Ильинского, некоторых критиков и авторов мемуаров.

Вместе с тем думается, что настала пора обобщить ряд высказываний, стараясь уделить внимание эволюции в исполнении стихов самим Маяковским.

В одной статье я прочел такую фразу: «К Маяковскому невозможно было привыкнуть…»

Эту мысль я принимаю безоговорочно,

Владимир Владимирович однажды спросил меня: «Смотрю я иногда на вас со сцены и думаю — небось раз двадцать слушает одно и то же. Не надоело вам?»

— Нет, — ответил я. — Чем больше слушаю, тем интереснее. Это — во-первых. А во-вторых, учтите, что я как-никак из актерского племени и многое воспринимаю с профессиональных позиций — ведь у вас иногда меняются интонации при чтении одного и того же стихотворения. Да и вообще не все сразу и вберешь. Наконец, я наблюдаю за реакцией слушателей. Бывает и так, что вы сами не приметите изменений, а со стороны виднее!

Многие стихи я знал наизусть, ни разу не прочитав их (да, были и такие, которые не появлялись еще в печати вовсе). При моей молодой памяти это и не удивительно: «вобрать в себя» такие стихи и тем паче с такого голоса и в таком исполнении и слушая их неоднократно!

Что удивляло и привлекало в авторских вечерах поэта? Пожалуй, всё: разговор с аудиторией, стихи, темперамент, ораторский дар и полемический задор, разящее остроумие. Но главное все же стихи, с их разговорными интонациями, разнообразием размера и ритма, непринужденностью в переходах не только от одной строфы к другой, но и от строки к строке, а порой и от слова к слову.

Чтобы полнее ввести в атмосферу вечеров поэта, приведу несколько характерных и оригинальных записок по поводу чтения.

«Когда сам читаешь ваши стихи — они непонятны, когда вы читаете, все становится понятным»,

Или другая, довольно наивная:

«Считаете ли вы достоинством или недостатком, что ваши стихи хороши только в вашем чтении?»

Последовал мгновенный ответ в духе самой записки:

— Вам надо тоже научиться хорошо читать стихи и тогда не будет таких вопросов.

Потом Маяковский зачитал записку иного толка: «Вас не понимают не потому, что не понимают, а потому, что не хотят понять, лень затратить время».

— Эта записка прямо противоположна предыдущей. Такие записки приятно читать!

Нередко записки касались непривычного деления строк — «лестничкой».

Обстоятельный ответ на это Маяковский дал в беседе с начинающими поэтами в Пензе (он приводится а этой книге, в главах «Отченаш» и «Волга — зимой»).

А вот и вовсе своеобразная и, я бы сказал, трогательная: «А вы, тов. Маяковский! Не огорчайтесь тем, что некоторые говорят о вашей грубости и непонятности стихов. Если только вчитаться — все понятно и хорошо. Ваши стихи лучше, когда их читаешь в книге, тогда вы человечней и ближе».

По следам моих записей на самих вечерах Маяковского даю обобщенный ответ его.

— Необходимо внимательно читать стихи и понять, что именно хотел сказать автор. Точнее, найти ключ к тому или иному произведению и точно определить жанр в его преломлениях. Читать, как правило, надо медленно и внятно, не нажимая, если нет к тому каких-либо смысловых причин. И конечно же не следует ни в коей мере форсировать звука без особых оснований, чтоб не получилось неоправданного крика. Надо стараться вникать в разбивку строк, не боясь и не смущаясь пауз — они скорее помогут, нежели помешают общему восприятию.

Не могу воздержаться от того, чтобы не привести еще одной записки (таганрогского происхождения), обнаруженной, кстати сказать, совсем недавно — ровно через полвека, — она весьма любопытна и, пожалуй, единственная а своем роде: «Я бы на вашем месте, тов. Маяковский, запретила бы другим читать ваши произведения. Только теперь, в вашем исполнении я особенно поняла всю красоту и мощность вашей поэзии».

И хотя ответа на нее мне не удастся воспроизвести, я склонен думать, что поэт, как всегда, толково и остроумно на нее ответил.

Игорь Владимирович Ильинский в одной из своих статей высказал среди прочих такую мысль: «У Маяковского была та неповторимая манера чтения, о которой трудно рассказать на бумаге и которую могут только с восхищением вспоминать все те люди, которые слушали его чтение; впечатление от этой манеры, которая, несмотря на свою яркость, почти не оставила подражателей, так как была органически свойственна только ему, не только было огромно, но и заложило фундамент для меня».

Я бы лично добавил, что вообще подражать поэту затруднительно, хотя это и пытаются делать. Но можно использовать порой те или иные интонации, формальные

находки, тем паче если человек лично слушал выступления поэта и запомнил их.

Хочу привести несколько примеров авторского чтения с надеждой, что чтецы извлекут из этого хоть маленькую пользу.

Начну с одного из самых популярных произведений — «Стихов о советском паспорте». В нем особенно заметно проступают искажения авторского замысла, которые допускают чтецы всех рангов, преподнося их на ложном пафосе, придавая им героические интонации, вовсе несвойственные произведению в целом. В результате оно теряет свою силу и обаяние. Например, учителя, по моим наблюдениям, нередко не вникают по-настоящему в суть произведения, не видят, что патриотические чувства поэта передаются с помощью сатиры и юмора. Поэтому и привносятся ненужные и неоправданные элементы приподнятой декламации. Отсюда нередко индифферентное отношение юных школьников к «Стихам о советском паспорте», а ведь их изучают миллионы.

Уже само начало стихотворения предваряет весь дальнейший ход его. В авторской основе — рассказ. К такого рода приемам поэт прибегает часто, ничуть не боясь, как об этом думают иногда чтецы, что из-за этого как бы улетучиваются преимущества поэзии.

Нет! Она не только не улетучивается, а, напротив, становится еще ярче и стихи звучат в полную силу. Да это и подчеркивает основные принципы поэтики Маяковского.

Уже первая строфа «Я волком бы выгрыз бюрократизм» в устах поэта звучала в убыстренном темпе, говорилась как бы вскользь, как нечто весьма повседневное, обыденное. Это создавало впечатление чего-то недосказанного. Дальше поэт делал переход к сообщению, будто имевшему место в действительности. Но уже само по себе сочетание «купе и кают» разбивает первое впечатление. Здесь все рисуется в сгущенных красках через конкретные детали. Многие строки написаны в ироническом и сатирическом стиле, притом с долей сарказма и гротеска.

Однажды он рассказал мне, как возник, например, образ «двухспальным английским лёвою»: «Это я выудил из весьма легковесной южной песенки, герой которой и есть этот самый Лёва». И тут же он пропел мне припев песни. Так «гордый британский лев» превратился в анекдотического «лёву».

Невозможно также представить себе героического начала стихотворения, если в нем фигурируют несовместимые с этим образы. Слова «пурпурная книжица» в его устах звучали мягко, лирически. Но и гордость мы бесспорно чувствуем, она доходит

через иронию и насмешку над чиновниками и жандармами. Поэт будто говорит: «Смотрите, каков я и какой у меня паспорт, он почетнее, чем у многих прочих пассажиров».

При непосредственной же проверке документов поэт переходит на конкретное «и я сдаю» и мы снова чувствуем превосходство обладателя советского паспорта.

Условные коридоры превращаются во фронт. Тут возникает ассоциация: Маяковский не раз рассказывал слушателям о своем пребывании в панской Польше и делал акцент на том, что его особенно удивило. Своими впечатлениями он делится и в очерках. В одном из них — «Наружность Варшавы» — мы читаем: «Единственно, что обще всем кварталам, всем улицам и дорогам всей Польши — это несметное количество военных. Откроешь глаза — сплошное козыряние. Закроешь глаза — сплошной звон шпор».

Эта же мысль подчеркивается и в другом стихотворении — «Чугунные штаны» (но об этом позже). При авторском чтении «Стихов о советском паспорте» непосредственная реакция слушателей подчас выражалась смехом. Это относится, например, к таким строкам:

На польский — / глядят, / как в афишу коза. / На польский — / выпяливают глаза / в тугой / полицейской слоновости — / откуда, мол, / и что это за / географические новости?

Маяковский резко отрывал «за», нажимая на этом предлоге. И следом менял интонацию, что само по себе уже определяло отношение автора к происходящему.

А затем прокатываясь и по другим странам, он медленно, увесисто, снижая и без того низкий бас, продолжал:

И не повернув / головы качан / и чувств / никаких / не изведав, / берут, / не моргнув, / паспорта датчан / и разных / прочих / шведов.

Советский паспорт приобретает иную окраску. Это уже «краснокожая паспортина», которую чиновник берет, как бомбу, как ежа, как бритву обоюдоострую, и, наконец, в ряду этих крепких метафор, говорящих сами за себя, выползает «змея двухметроворостая».

Между тем, несмотря на явный гротесковый элемент и сатирические оттенки, нередко сталкиваешься со скучными и напряженными интонациями при чтении этих своеобразных строк. Искажения свойственны как профессионалам, так и самодеятельным чтецам, в частности школьникам.

Даже такие, казалось бы, невеселые слова, как: С каким наслажденьем / жандармской кастой / я был бы / исхлестан и распят / за то, / что а руках у меня / молоткастый, / серпастый /

советский паспорт, — в авторском исполнении звучали задорно и не без оттенка гордости. Также, впрочем, как звучит и финал:

Читайте, / завидуйте, / я — / гражданин / Советского Союза.

(Примечательно, что тут отсутствует даже, казалось бы, напрашивающийся восклицательный знак.)

Я старался показать в меру моих сип, как Маяковский читал «Стихи о советском паспорте», тем самым надеясь внушить читателю, что на основе вышеприведенного он и сам может дойти до точной расшифровки смысла любого произведения, внимательно отнесясь к нему, не отклоняясь от основного замысла.

Заодно хочу сказать о наблюдениях из личной практики: мне случалось неоднократно быть членом жюри на конкурсах чтецов, главным образом самодеятельных. На каждом из них, как правило, читают «Стихи о советском паспорте». Увы, большая часть далека от правильного понимания этого произведения. В памяти остался лишь один паренек, который читал «Стихи о советском паспорте» очень своеобразно: именно в сатирическом ключе и с оттенком юмора.

«Стихи о советском паспорте» написаны в начале июля 1929 года и сданы поэтом в журнал «Огонек». Но, по не установленной причине, были опубликованы лишь после смерти — 30 апреля 1930 года. Часто ошибочно считали, что «Стихи о советском паспорте» не печатались при жизни поэта вовсе. На самом деле они опубликованы в сборнике «Туда и обратно» в конце 1929 года.

Впервые публично поэт читал это стихотворение 21 июля 1929 года а Сочи. В дальнейшем оно звучало на всех авторских вечерах вплоть до последнего в жизни — 9 апреля 1930 года, то есть за пять дней до гибели.

Стоит привести и другие примеры авторского чтения. В стихотворении «Чугунные штаны», казалось бы, о каком юморе может идти речь? Ведь в нем подняты серьезные проблемы: панская Польша грозит напасть и отвоевать Украину.

Но поэт рисует этот конфликт, глядя свысока на своего «грозного» соседа. И конечно же, все это дается сквозь призму сарказма и юмора и не без «крепкого нравоучения». И недаром уже с первых строк в публике то и дело раздавался смех.

Заучит сразу спокойное, как бы обычное, чуть ли не экскурсоводческое списание:

Саксонская площадь; / с площади плоской, / парадами пропылённой, / встает / металлический / пан Понятовский / маршал

и внезапно снижается интонация и появляется пренебрежение

в одном слове: Наполеона.

«Убийственно» доносятся последующие два слова, сопровождаемые резкой жестикуляцией — рука взметнулась вверх и как бы прошлась вниз по фигуре «героя»

Штанов нет. / Жупан с плеч. / Конь / с медным хвостом. / В правой руке / у пана / меч, / направленный на восток. / Восток — это мы. / Восток — Украина, / деревни / и хаты наши. / И вот / обратить / Украину / в руины / грозятся / меч и маршал.

Финал же, поданный с трибуны с такой легкостью и непринужденностью, и вовсе шел под дружные аплодисменты зала:

А памятники / есть и у нас. / Это — / дело везения. / И брюки дадим / из чугуна-с; / заслужишь / и стой… / До видзения!

При этом Маяковский непринужденно махал рукой, как. бы прощаясь, и делал полуоборот, создавая впечатление, что покидает сцену!

Приведу еще один характерный пример, связанный с авторским чтением «Письма товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», вобравшего в себя и философские размышления, и обобщения о любви, о природе ревности и прочее…

Как бы ни трактовали чтецы различных индивидуальностей это стихотворение, в основе своей оно зиждется на иронии, свободном, раскованном языке с редкими, строгими отступлениями. Оно значительно изобилует неожиданными переходами и разнообразием интонаций — от юмористических до откровенно упрощенно-бытовых.

Так как я слушал это стихотворение в авторском исполнении десятки раз, мне легче передать и замысел его в целом и свое восприятие.

Я говорю об этом замечательном стихотворении еще и потому, что не могу привести ни одного примера его чтения, подтверждающего основу авторского замысла. Исключение сделаю, пожалуй, только для одного Яхонтова, которому вообще были присущи скрытые, чуть приглушенные иронические интонации.

С Яхонтовым мне доводилось не раз беседовать о его трактовке произведений Маяковского и особенно запомнился разговор в год его смерти, зимой 1945 года, когда он скромно «оправдывался»: что, мол, буду еще работать, до идеала мне еще далеко.

В исполнении других чтецов мы чаще всего сталкиваемся с искаженным толкованием — тут и излишняя чувствительность, и ложный пафос, граничащий с трагедией.

В «Письме товарищу Кострову» есть строчки, которые Маяковский не только пытался скандировать, но даже намечал речитативом мелодию в игривом тоне, например: «Мне любовь не свадьбой мерить: разлюбила — уплыла. Мне товарищ в высшей мере наплевать на купола».

Почти все новые стихотворения становились достоянием слушателей на ближайших вечерах поэта. Правда, иногда случалось и так, что Владимир Владимирович читал мне днем произведение, а вечером оно отсутствовало в программе. Я спросил как-то: «Почему вы не читали сегодня новое?» И он объяснил:

— Бывает так, что стихи, которые с эстрады по разным причинам не очень доходят, звучат неполнокровно, я стараюсь не читать вовсе!

Но это лишь исключения, а, как правило, поэт читал все стихи «свежей выпечки», как говорил он сам.

Из ранних стихов Маяковский чаще других читал «Необычайное приключение…». Само название претерпевало с годами некоторые изменения в сторону расширения.

В последнем собрании сочинений название выглядит так: «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по Ярославской жел. дор.)». Казалось бы, куда уж шире. ан нет, поэт умудрялся во время выступлений расширять еще на несколько слов, тем самым оживляя его и подчеркивая необычайность вещи.

Но это не выглядело назойливым, ибо читал он весьма своеобразно: «НЕОБЫ» он отрывал очень громогласно и широко, бросая в зал как бы отдельное слово. Затем, после паузы, шла вторая половина слова «ЧАЙНОЕ» на резком контрасте — тихим голосом, полуинтимно, как бы преддверие к тому, о чем пойдет речь в дальнейшем. Остальная часть заглавия — в убыстренном ритме, подобно скороговорке, но все слова были ясны: приключение, бывшее со мной, с Владимиром Владимировичем Маяковским, летом на даче. Пушкино, дача Румянцева, Акулова гора, двадцать семь верст от Москвы по Ярославской железной дороге.

«В сто сорок солнц закат пылал, в июль катилась лето, была жара, жара плыла…» — и неожиданно появилась деталь — он говорил по-свойски: «на даче было это». Дальше разговор приобретал фантастически сказочный ракурс. В том месте, где поэт как будто должен был кричать: «Я крикнул солнцу…» — он спокойно и сдержанно произносил: «Слазь! довольно шляться в пекло!»

Читая это стихотворение, Маяковский, как это нередко делал вообще, чередовал разнообразные интонации.

Концовка стихотворения звучала и вовсе оригинально. «Вот лозунг мой» — читал он гордо и твердо, с сознанием своего поэтического достоинства, а затем пренебрежительно-иронически и отрывисто, взмахнув рукой: «и солнца!» (мол, подумаешь, эка важность).

Перед чтением «Необычайного приключения…» поэт пояснял:

— Эту вещь я считаю программной. Здесь речь идет о плакатах. Когда-то я занимался этим делом. Нелегко давалось. Рисовали иногда дни и ночи. Часто недосыпали. Чтобы не проспать, клали под голову полено вместо подушки. В таких условиях мы делали «Окна РОСТА», которые заменяли частично газеты и журналы. Писали на злобу дня, с тем чтобы сегодня или на следующий день наша работа приносила конкретную пользу. Эти плакаты выставлялись в витринах центральных магазинов Москвы — на Кузнецком и в других местах. Часть размножалась и отправлялась в другие города.

Из Сочи Маяковский отправился в Крым теплоходом.

— Такой теплоход — это уже вещь! А ведь у нас их несколько штук. Прямо душа радуется!

Из Хосты должна была приехать Вероника Полонская. Она обещала быть в Ялте следом, дня через два-три. А ее все не было. Маяковский нервничал.

Послал «молнию». Ответа нет. Затем другую, третью — тоже без ответа. По нескольку раз в день он наведывался на пристань, наводил справки, встречал все прибывавшие пароходы. Приходил на мол и тогда, когда никакие суда не ожидались.

Владимир Владимирович попросил меня вместе с ним составить служебную телеграмму на имя начальника хостинского телеграфа, чтобы тот отыскал, передал и ответил.

Помню, как смутилась девушка, принимая эту частную, необычайную по тексту и длинную «молнию».

Первое крымское выступление состоялось в Мисхоре. После чтения отрывков из «Клопа» в публике разгорелся спор. Один из «критиков» вел себя особенно возбужденно. Маяковский обратил на него внимание:

— Эй, что вы там окопались в темноте и размахиваете ручками? Выходите сюда, здесь мы поговорим при полном свете!

«Критик» не растерялся и перекочевал на эстраду. Он произнес весьма колючую речь. Маяковский с трудом сдерживал себя. Когда же он отвечал и кто-то попытался прервать его, Маяковский решительно запротестовал:

— Я молчал! Теперь вы будете сидеть как проклятые и

слушать меня!

Несколько крикунов попытались заглушить его. Маяковский грозно посмотрел на бузотеров:

— Не родился еще богатырь такой, который меня бы переорал!

С него градом лил пот. Я предложил ему остыть, передохнуть после такой «жаркой схватки». Ведь в Ялту едем в открытой машине, с моря ветер…

— Что я — певец? Ерунда! Поехали!

По дороге я спросил:

— Зачем вы тратите столько энергии? Просто страшно!

— Знаю, но сдержать себя никак не могу. Я и до сих пор не могу прийти в себя от этой драки. Трудно было с ним справиться.

Наутро он увидел меня в вестибюле гостиницы «Марино» в момент острого приступа болезни печени. Я едва двигался. Он довел меня до лестницы, взял на руки, донес до самой постели и, как бы извиняясь, прошептал:

— Теперь пришла моя очередь поухаживать.

Вызвал врача, подал горячую грелку, заказал лекарства, принес фрукты, цветы. Одним словом, сделал все, что нужно и можно было сделать.

Вряд ли «критик» узнал бы вчерашнего Маяковского в этом бесконечно внимательном и нежном человеке.

Несколько дней спустя Маяковского пригласили осмотреть подвалы Массандры. Я пошутил: «Не советую». На что последовал стихотворный ответ:

Ну, а класс[50] / он жажду / заливает квасом? / Класс — он тоже / выпить не дурак.

Поедем!

Я ответил словами из того же стихотворения: «Дела много — только поспевать».

После возвращения из Массандры он позвал меня в бильярдную. Взамен я предложил уже давно задуманную экскурсию — кажется, на водопад Учан-су.

— Не талмудьте голову! Отвечайте: «А вы в бильярд сыграть смогли бы?»

— «На флейте водосточных труб»?

— Нет, на деньги.

— И бесплатно не хочу. У меня — бесплатное море.

— А я одновременно и играю, и море наблюдаю. (Бильярдная выходила на набережную).

Наконец пришла из Хосты телеграмма: «Слегка заболела приеду пятнадцатого», затем другая: «Больна малярией» и в ответ на «служебную» предложила перенести встречу на Москву.

Позже Маяковский писал:

Я не спешу / И молниями телеграмм / мне незачем / тебя / будить и беспокоить… / Как говорят инцидент исперчен…

Эти строчки из «Неоконченного» повторяются и в предсмертном письме. «Инцидент исперчен», — частенько говаривал он. Эту остроту он слышал от артиста Владимира Хенкина. Шутка оказалась трагедийной.

Маяковский выступил в Ливадии на открытой площадке клуба, в крестьянском санатории, размещенном в бывшем царском дворце. Площадка была поделена пополам: одна сторона для отдыхающих, другая — для обслуживающего персонала и посторонних. Владимир Владимирович был поражен, увидев крестьян, сидящих в санаторных нарядах — пижамах.

— Мне уже приходилось бывать здесь, и по этому поводу я написал стихотворение «Чудеса», которое я вам сейчас прочту;

Как днище бочки, / правильным диском / стояла / луна / над дворцом Ливадийским. / Взошла над землей / и пошла заливать ее, / и льется на море, / на мир, / на Ливадию. / В царевых дворцах — / мужики-санаторники.

Наутро мы должны были на пароходе «Ленин» отплыть в Евпаторию.

Собирая вещи, Маяковский пожал плечами:

— Странно! Почему-то в дороге, как правило, чемодан набит до отказа! Я когда-нибудь нарочно возьму пустой чемодан.

Пришлось утрамбовывать вещи, танцуя поочередно на чемодане.

Маяковский отправился на пристань один, а я остался заканчивать срочные дела, рассчитывая успеть к посадке. Но задержался и прибежал после третьего гудка. Уже поднимали трап. Мгновение. Я успел схватиться за него и, само собой разумеется, автоматически взмыл кверху. Несколько секунд я висел над морской пучиной. Мне казалось, что взоры устремлены на меня. Я подумал — Маяковский небось разглядывает меня: каков циркач. На палубе хихикали, кое-кто оценил мою ловкость, и мне даже слегка аплодировали. Владимира Владимировича на палубе не оказалось. Странно. Я отправился на поиск и, войдя в ресторан, услышал из дальнего угла знакомый голос:

— Откуда вы, «прелестное дитя»? Ведь я был на палубе до самого «отдай концы» включительно — и вас не видел.

Взволнованный, я рассказал о приключениях и шепнул: «На борт подняли „зайца“ — я не успел купить билет».

Только на днях я доказывал, что в поездках никогда не бывает все гладко. Маяковский возражал:

— А вот в Крыму все гладко.

Я тогда поправил его: «Не все, а почти все». Теперь он это признал:

— Действительно, вы правы: в поездке не бывает все гладко.

Во время завтрака команда обратилась с просьбой выступить. Маяковский охотно согласился.

— Ваше дело в шляпе! — шепнул он мне, как только моряки ушли. Конечно, это была лишь шутка, ведь Маяковский согласился выступать без учета выгод — он никогда вообще не отказывал людям, которые хотели послушать его стихи.

Когда пароход прошел Севастополь, на верхней палубе, под брезентовым навесом, собрались моряки. Проникла и часть пассажиров. Поднялся ветер. Судно покачивалось и, переваливаясь с боку на бок, скрипело. Маяковский состязался с шумом ветра и волн. Он держался одной рукой за штангу.

— Приходится а открытом море сражаться с бурей, — пошутил он.

После краткого вступительного слова зазвучали стихи. В который раз прочитано «последнее» стихотворение! Просили еще и еще — долго не отпускали.

Немного отдохнув, он усадил меня на палубе в плетеное кресло и вручил русско-французский словарь. Сам же похаживал вблизи и просил проверять.

Я спрашивал десятки слов, читая их по-русски и по-французски. Почти все слова он переводил правильно.

— Годик еще позаниматься, и буду прилично владеть. Мне это крайне необходимо. Ведь почти ежегодно бываю во Франции.

Когда пароход подходил к Евпатории и она стала видна как на ладони, Маяковский тихо проскандировал:

Очень жаль мне / тех / которые / не бывали / в Евпатории.

— Как, по-вашему, — шутя обратился он ко мне, — меня будут когда-нибудь цитировать, как «Горе от ума» или Пушкина?

— Я думаю, что будут, и даже больше, вот я, например, цитирую. Ведь они сами лезут в разговор.

— До Грибоедова мне далеко, но надежды не теряю, — посмеивался он.

Действительно, знакомые частенько впопад бросали меткие фразы — «Как собаке здрасите», «От жары балда», «Светить — и никаких гвоздей», «Дела много, только поспевать» и другие.

В одном евпаторийском санатории Маяковский попросил поднять руки тех, кто знает хоть несколько строк из современных поэтов. Взмахнули десятки рук. С мест стали кричать: «Я знаю!» Но, как выяснилось, никто не смог привести больше одной-двух строчек. Кто-то выкрикнул из Сельвинского: «Ехали казаки». А дальше? Молчание.

— Не то я просил, — сказал Маяковский. — Нужны хотя бы отдельные четверостишия. Если вы внимательно читаете стихи по нескольку раз и стихи хорошие, то обязательно запомните отдельные куски или, по крайней мере, рифмованные четыре строчки. Для того и пишутся стихи. В том их основное отличие от прозы. Выходит: или у нас еще мало читают стихи, или поэты плохо пишут. Вот «Евгения Онегина» вы все знаете, потому что здорово сделана вещь. Я плохих вещей тоже не запоминаю, за исключением тех, которые нужны мне для иллюстрации безграмотности или недобросовестности поэтов.

В другом санатории слушатели переполнили открытую площадку и, сидя в темноте, хором распевали украинские песни. Выделялась знаменитая: «Реве та стогне». Маяковский отыскал ход на сцену. Там тоже темень и ни души. Владимир Владимирович прождал несколько минут. Никто из администрации не появлялся. Я подумал, что он обидится и уйдет. Но этого не случилось.

— Даже оригинально! — весело сказал Маяковский. — Давайте сами начнем!

Отыскав рубильник, он включил свет и вышел за занавес.

— Сейчас я даю занавес и приступаю к работе, — прозвучало категорически.

Маяковский притащил столик и отрекомендовался:

— Как видите, перед вами поэт, монтер и рабочий сцены. Сколько неожиданностей сулит вам мой приезд! Я надеюсь, что вы не в претензии на меня за то, что я помешал вам петь, так сказать, нарушил ваш покой. Товарищи, я уверен, что вы не откажетесь от записок в конце вечера, а большинство этих записок я заранее знаю, и потому начну свое выступление прямо с ответов на пока еще не поступившие записки.

В курзале скамьи окружены сплошной стеной людей. Оркестр превращен в ложу: там сидят артисты. Маяковский заговаривает с ними «по-семейному», он не скрывает своего отрицательного отношения к большинству исполнителей его стихов. Потом читает записку:

«Как вы относитесь к чтению Артоболевского?»

— Никак не отношусь. Я его не знаю.

Из оркестра раздается смущенный голос:

— А я здесь…

Маяковский нагибается:

— Почитайте, тогда я вас узнаю. Поскольку речь идет о «Солнце», прочтите его. Затем, если вы не обидитесь, я сделаю свои замечания и прочту «Солнце» по-своему.

Артоболевский выходит на сцену. Заметно волнуясь, читает

«Солнце». Раздаются аплодисменты.

Маяковский хвалит его голос, отмечает и другие положительные качества исполнения. Но он говорит, что чтецу не хватает ритмической остроты, и критикует излишнюю «игру», некоторую напыщенность. Он находит, что напевность в отдельных местах, например в строках «Стена теней, ночей тюрьма», неоправдана, и, наконец, подчеркивает, что нельзя сокращать название стихотворения.

— Так, к сожалению, делают большинство чтецов, — замечает он, — а между тем название неразрывно связано с текстом. Все, что мной говорилось, — заключает он, — относится ко всем чтецам, которых я слышал, за исключением одного Яхонтова.

Затем Маяковский сам читает «Солнце». Артоболевский поблагодарил его и отметил интересную деталь: ему казалось, что слова «…крикнул солнцу: „Слазь!“» нужно действительно крикнуть, а Маяковский произнес слово „слазь“ без всякого крика, но тоном чуть пренебрежительным.

— Подымите руки, кто за меня? — обратился к залу поэт. — Почти единогласно.

И снова «аудитория сыплет вопросы колючие, старается озадачить в записочном рвении».

«Кто вам больше платит — Леф или Моссельпром?»

Маяковский зол:

— После такого вопроса я могу задать вам другой, и вас выведут из курзал-парка. Вы хотите сказать, что я продался Советской власти? Моссельпром — государственное предприятие, борющееся с частниками. Моссельпром — частица социализма. А за «Нигде, кроме» я получил три рубля. Это в Америке за такие строчки платят сотни и тысячи долларов. У нас все должны честно получать за свой труд.

«Вы утверждаете, что хорошо знакомы с Горьким, — это неверно».

— Сейчас уже народилась армия, которая хвалится знакомством с Маяковским. А вы уличаете меня в том, что я горжусь близостью к Горькому!

«Маяковский, за что вас ругал Ленин?»

— Ленин был скромнее вас. Ленин прочел в «Известиях» мое стихотворение «Прозаседавшиеся» и сказал: «Я не поклонник его таланта, хотя признаю свою некомпетентность в этой области. Но с точки зрения политической и административной я давно не испытывал такого удовольствия. Насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно»[51].

Вскользь замечу, что поэт с эстрады читал «все до 42 лет на заседании комсомола» (вместо 22 лет, как в книге). Он знал, что

42 ближе к гротесковому стилю — смешней и впечатлительней.

«Зачем вы ездите за границу?»

В ответ сугубо «мажорно» зазвучало четверостишие из «Паруса» Лермонтова:

Под ним струя светлей лазури, / Над ним луч солнца золотой… / А он, мятежный, ищет[52] бури, / Как будто а бурях есть покой!

«Ваша поэзия не поднимается выше частушек и агиток».

— У меня есть частушки, которые я сочинил в начале революции. Ни в одной из моих книжек вы их не найдете. Но с этими частушками красногвардейцы шли на Зимний дворец, распевая их на мотив «Ухаря-купца»:

Ешь ананасы, рябчиков жуй, / День твой последний приходит, буржуй.

Я горжусь этим больше, чем всем, что написал за всю свою жизнь.

«Почему в ваших стихах много индивидуализма и ваше личное я чересчур сильно просвечивает сквозь революционный сюжет?»

— Значит, у меня хоть луч света просвечивает, а у вас абсолютная власть тьмы, судя по этой записке.

После вечера артисты, среди них Е. Н. Гоголева, В. Н. Аксенов, Г. И. Афонин, подошли к Маяковскому и заговорили с ним о чтении с эстрады, о репертуаре. Он назвал свои стихотворения для исполнения и особенно советовал отдельные главы из «Хорошо!».

— Есть очень хорошие куски для эстрады. Уверен, что они будут доходить. Сужу по своим выступлениям.

Артисты любили его. В Ялте он встречался с Ю. Солнцевой, П. Полем и другими. Они заглядывали неоднократно в тир и весело проводили там время, охотно подолгу стреляя.

В Евпатории он ежедневно коротал время с Хенкиным, иногда с Тамарой Церетели.

Владимир Владимирович редко смеялся громко, но, когда он слушал рассказы и остроты Владимира Хенкина, не мог удержаться от хохота.

Он часто вспоминал одного из любимейших своих актеров — Игоря Ильинского.

— Посмотреть Ильинского — большое наслаждение. Он замечателен во всех ролях. Обожаю его в «Клопе».

«Клопа» с участием Ильинского Маяковский смотрел много раз. Я как-то попробовал сымитировать фразу Ильинского (в его гротесковом стиле) из спектакля «Лес»: «А ты свое художество брёсил?» — «Брёсил, — говорю, — Геннадий Демьянович,

брёсил!». Маяковскому понравилось.

— Умоляю, еще что-нибудь!

Расхрабрившись, я спел песенку Аркашки, введенную Мейерхольдом в «Лес» из «Орфея в аду»:

Когда я был аркадским принцем, / Любил я очень лошадей, / Гулял по Невскому проспекту, / Как ошалелый дуралей.

Даже подражание Ильинскому умиляло Маяковского, и он неоднократно просил:

— Ну, спойте! Или скажите только «брёсил».

ПРОГРАММНЫЕ ВЕЧЕРА

Литературный сезон в Москве открывался в Политехническом музее вечером «Левей Лефа» (вечер состоялся 26 сентября 1923 года), вызвавшим множество кривотолков.

Маяковский писал в объяснительной записке к докладу:

«…Показать, что мелкие литературные дробления изжили себя и вместо групповых объединений литературе необходимо сплотиться вокруг организаций, ведущих массовую агитлитературную работу, — вокруг газет, агитпропов, комиссий, организуемых к дням революционных празднеств. Необходимость отказа or литературного сектантства иллюстрируется примером Лефа, большинство из сотрудников которого ведут работу в пионерских, в комсомольских органах печати. Только переход на такую работу дает писателю вместо салонной поддержки семидесяти единомышленников критику и поддержку миллионных организаций.

Литература — самоцель должна уступить место работе на социальный заказ, не только заказ газет и журналов, но и всех хозяйственных и промышленных учреждений, имеющих потребность в шлифованном слове. Мы излишнее количество сил уделяем на критику ничтожных литературных явлений, оставляя без критического внимания вещи повседневного обихода. Хлеб, костюм, сапог должны критика интересовать по крайней мере не меньше, чем стихи Есенина.

Агитационно-просветительная работа хотя бы по борьбе за чистоту жилищ, против плевания на улице, за отмену рукопожатий и т. п. должна пользоваться правами литературного гражданства наравне с поэмой и романом».

Разговор иллюстрируется стихами, печатавшимися а «Правде», «Комсомольской правде», «Рабочей газете», «Крокодиле».

Составляя афишу, Маяковский впервые опустил слово «поэт», оставив только свое имя и фамилию.

Не только ради формы или ради эффекта сделал он это. Здесь — четкая мысль, тенденция: освобождаться от лишних слов вообще и, в частности, на афише, которой самой природой суждено быть лаконичной. Наряду с этим возникает параллель, когда вспоминаешь ответ Маяковского на вопрос одного из слушателей: «Вы себя считаете хорошим поэтом?» (ответ приведен в этой книге).

Еще деталь: на афише вместо общепринятого «Ответы на

записки» значится в единственном числе: «Ответ на записки». Смысл таков: записок много, но ответ как бы один, он исходит от одного лица и представляет как бы единое целое.

Отдел поэзии был поделен здесь на «некрасивые стихи» и «стихи красивые». К первым относились сатирические. Почти все названия остались книжные, только перед такими, как «Помпадур», «Служака» и другие, появилась приставка «сов»: «Совпомпадур», «Совслужака»; «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру» назывался «Хол» и «Гор».

Доклад «Левей Лефа» Маяковский начал с рассказа о том, как триста греков засела в Фермопильском ущелье и отбивались от целой армии персов.

— Мы, лефы, были с восемнадцатого по двадцать пятый год такими же фермопильцами, героически отбивающимися от наседающих полчищ эстетов и прочих правых флангов искусства. По нашему примеру и другие начали устраивать свои фермопильчики. Персы уже стали другими, а мы все сидим по своим ущельям. Пора бросить нелепейшую и бессмысленную игру в организации и направления, в которую выродилась наша литературная действительность. ВАПП объединяет четыре тысячи поэтов, а я, Маяковский, вынужден расплачиваться за всех: в газете, в радио работать некому. В свое время лефовцы выбросили лозунг борьбы за газету как единственный вид литературы. С сегодняшнего дня я отказываюсь от лозунга «Только газета есть литература» и выдвигаю другой лозунг: «Да здравствует стихотворение! Да здравствует поэма!». В свое время лефовцы аннулировали живопись, заменив ее фотографией. С сегодняшнего дня я амнистирую Рембрандта. Я борюсь против тех, которые пытаются превратить Леф в «общество любителей левого искусства». Леф в том виде, в каком он был, для меня больше не существует. Но это не значит, что борьба за левое искусство, которую мы ведем, ослабеет хотя бы на минуту!

Ровно через год Маяковский намечал новые пути борьбы за левое искусство:

— Сначала в Москве надо сделать большой вечер. Я составлю сногсшибательную афишу: «Гала-вечер». Напишем так: «Состоится открытие Рефа». Нет, это сухо и официально. Просто — «Открывается Реф». Вечер состоялся в Политехническом музее 8 октября 1929 года. Революционный фронт искусств (Реф) — организация, которую возглавлял Маяковским после ликвидации Лефа. Председатель — В. Маяковский. Выступят: Асеев, Брик, Жемчужный, Кассиль, Кирсанов, Ломов, Маяковский, Незнамов, Родченко, Степанова.

Теперь — зададимся вопросами.

И он быстро набросал: «Что такое Реф? Что такое классик? Что такое поэт? Что такое газетчик? Что такое делается? Что такое факт? Что такое бизнес? Что такое субъективный объектив?»

Потом приписал:

«Декларации, лозунги, установки на весь 1930 год. Демонстрации словесные и диапозитивные. Разговор с аудиторией и обратно».

И сразу передумал:

— Нет, «туда и обратно» — грубо и игровато.

Вычеркнул эти слова и добавил: «Записки. Прения».

22 сентября [1929 г.] Маяковский читал у себя дома впервые пьесу «Баня». До сбора гостей оставались минуты, и он использовал их, внося поправки, дополнения.

Маяковскому нравилось вывешивать афиши своих выступлений на стене. А тут и сам бог велел — коллективный вечер. Но на этот раз, поскольку афиша не была готова, пришлось удовольствоваться грязноватой корректурой. Он знал, что и в таком виде она будет приятна участникам вечера, все они сегодня были здесь. Гости заполнили столовую, и стало тесновато.

Коротенькое вступление — перечень действующих лиц. Слушали напряженно, внимательно. Однако внешняя реакция давала себя знать: то и дело раздавался смех. Маяковский не раз прерывал чтение, рассказывая об источниках, послуживших материалом для комедии, о происхождении отдельных фраз и т. д. Так, прототипом бюрократа он взял одного из ответственных служащих всем известного литературного учреждения.

Не раз Маяковский спрашивал знакомых, в том числе и меня, когда я только мечтал об аппарате в новой квартире: «У вас есть телефон?» и, получив отрицательный ответ или даже не дождавшись такового, тут же сам отвечал, не делая паузы: «Ах, у вас нет телефона!»

Чуть ли не дословно эта фраза и вошла в пьесу. В те времена наличие домашнего телефона выглядело значительным явлением, и со сцены эта реплика звучала злободневно и смешно.

А вот такого же типа находка, не менее смешная.

Однажды в вагоне, собираясь закусить, мы достали дорожные приборы, те самые, которые Владимир Владимирович привозил из-за границы как себе, так и знакомым (в футляре — ложка, ножичек и вилочка, вложенные в стаканчик — либо граненый из стекла, либо металлический). Сосед по купе заинтересовался: «Какие замечательные вещи! Где вы их раздобыли? Это, наверное, заграничные? Вот у нас еще не умеют такие делать».

Я ответил полусерьезно, полушутя: «Наше государство пока

занимается крупными вещами — строим гиганты, перешибаем фордизмы, а скоро дойдем и до мелочей».

В «Бане» эти слова произносит Оптимйстенко: «Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное государственное учреждение. Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется — фордизмы разные, то, сё…» (Маяковский делал ударение в фамилии Оптимистенко на третьем слоге и немного акцентировал по-украински).

Читать пьесу без перерыва даже такому опытному оратору и чтецу, каким был поэт-драматург, — не под силу. Да еще в присутствии искушенных слушателей, среди которых Мейерхольд и его жена, артистка Зинаида Райх.

В перерыве, во время чаепития, звучали восторженные возгласы. И только, как ни странно, сдержанно вел себя Всеволод Эмильевич Мейерхольд. А его слова ждали в первую очередь; ведь ему ставить и в значительной мере в его руках судьба пьесы.

Сдержанность режиссера следует объяснить, пожалуй, привычкой дослушать до конца, а уж потом подводить итог.

Когда автор перевернул последнюю страницу, наступила пауза. Все взгляды обратились на Мейерхольда. Однако вместо ожидаемой речи Всеволод Эмильевич, глубоко вздохнув и по привычке погладив свою «шевелюру», произнес лишь одно слово: «Мольер!» Это прозвучало очень серьезно и взволнованно.

Потом, помню, кто-то спросил у Маяковского, как бы вскользь: «Почему вы не пишете пьесу в стихах?»

— Как Грибоедов я не напишу, а хуже — не хочу.

Гости не расходились еще час-другой: делились впечатлениями, пели дифирамбы.

И лишь через некоторое время квартира опустела.

На следующий день, 23 сентября, поэт читал пьесу для труппы театра в вечерние часы. Третье чтение состоялось снова в Гендриковом — 27 сентября. Все три чтения прошли с неослабевающим успехом. Слушатели оценили «Баню» как большой этап в творчестве поэта. Сам автор считал новое творение лучшим в своей драматургии. Он сказал как-то мне: «Баня» значительно сильнее «Клопа».

8 октября Политехнический был буквально осажден. Участники вечера «Открывается Реф» с трудом пробились в здание.

«Литературная газета» достаточно точно пересказала вступительную речь Маяковского:

«Год тому назад мы здесь распускали Леф. Сегодня мы открываем Реф. Что изменилось в литературной обстановке за год и с чем теперь выступают на литературном фронте рефовцы?

Прежде всего мы должны заявить, что мы нисколько не отказываемся от всей нашей прошлой работы, и как футуристов, и как комфутов, и, наконец, как лефовцев. И сегодняшняя наша позиция целиком вытекает из всей нашей прошлой борьбы. Все споры наши и с врагами, и с друзьями о том, что важней: „как делать“ или „что делать“, мы покрываем теперь основным нашим литературным лозунгом — „для чего делать“, то есть мы устанавливаем примат цели и над содержанием и над формой.

Рассматривая искусство как орудие классовой борьбы, мы должны в своей литературной работе прежде всего ясно представить себе общую нашу цель и конкретно стоящие перед нами боевые задачи строительства социализма. С этой точки зрения мы, в первую голову, и будем подходить ко всякой литературной работе сегодня.

Мы заявляем: только те литературные средства хороши, которые ведут к цели. Такая установка нашей программы не снимает старого нашего требования новой фермы для нового содержания. И если одним своим острием она направлена против рыцарей „формы для формы“, бесчисленных эстетизаторов и канонизаторов формы, то другим своим острием она бьет тех, которые пытаются втиснуть пятилетку в сонет, пытаются воспеть социалистическое соревнование крымско-плоскогорными ямбами.

В целом эта установка не оставляет ни сантиметра места писателю, желающему именовать себя революционным, для какой бы то ни было аполитичности:

Литературная обстановка сегодняшнего дня утверждает нашу всегдашнюю борьбу против аполитичности, как далеко не второстепенный пункт нашей программы. А вся она звучит как настойчивое требование, обращенное к искусству, стать в ногу с социалистическим строительством, выйти на передовые позиции классовой борьбы!».

Кроме Маяковского, с речами выступали Николай Асеев и Осип Брик.

Публика настроена бурно. В зале засела хулиганская группка. Они кричали, свистели и даже принялись избивать одного из участников вечера.

После перерыва читались стихи. Николай Асеев прочел стихотворение Фрейлигрaта, Семен Кирсанов — переводы стихов французского рабочего поэта Жюля Жуя. Оппоненты были из публики.

Маяковский подвел итог прениям и репликам с мест.

В середине октября Маяковский, вопреки установившейся традиции, объявил свои вечера «Что делать?» сначала а Ленинграде, потом а Москве. В объяснительной записке он

изложил основные положения:

«В своем вступительном слове я объясняю причины, заставившие Леф почистить свои ряды, внести изменения в программу и принять название Реф, то есть революционный фронт искусства. Основная причина — это борьба с аполитизмом и сознательная ставка на установку искусства как агитпропа социалистического строительства. Отсюда отрицание голого факта и требование в искусстве тенденциозности и направленности».

Текст афиши выглядел броско, но не вызывал сомнений, за исключением, пожалуй, одной подробности: вместо привычного подзаголовка «стихи и поэмы» он начертал — «словесные иллюстрации», куда входили отрывки из двух пьес — сначала из «Бани», а затем из «Клопа». И в заключение «5 лет».

Я спросил, что означает последнее — не стихи и не пьеса?

— Это будущая поэма, но пока ее нет, а возможно, и не будет.

— Так зачем же писать, коли не будет?

И в ответ прозвучало неопределенное.

— Всякое бывает, а вдруг до выступлений что-то появится. А нет, так не беда, в конце концов будут другие стихи, которые вовсе здесь не значатся.

На название афиши я не обратил особого внимания, так как привык, что почти всегда они весьма оригинальны и неожиданны.

И лишь впоследствии стал понятен смысл заголовка афиши.

Поэме же о пятилетке («5 лет») так и не суждено было появиться на свет, а заголовок «Во весь голос. Первое вступление в поэму» остался лишь напоминанием о задуманном. С моей же точки зрения, «Во весь голос» — самостоятельное произведение и бесспорно одно из самых выдающихся в его творчестве.

ВЫСТАВКА

Итак, 29 сентября (эта дата уточнена по недавно обнаруженной доверенности, выданной мне Маяковским на устройство его вечеров), перед моим отъездом в Ленинград, Маяковский неожиданно спросил меня, показывая на стены столовой:

— Как по-вашему, поместились бы на них все мои афиши?

— Вышла бы целая выставка.

— Вот именно! Хочу сделать выставку, и вы должны мне помочь.

Я смутился. Предложение застало меня врасплох. Не дожидаясь ответа, он присел к столу и стал делать наметки.

— Во-первых, надо постараться собрать все издания книг. Большая часть у меня имеется, потом — у мамы, у сестер. Остальное придется раздобыть — главным образом, старые издания. Затем газеты с моими стихами — как столичные, так и по возможности провинциальные. Важно брать номера, где стихи на первой странице, — удобнее вывешивать.

И записал: «Детские книги, газеты Москвы, газеты СССР, СССР о Маяковском, заграница о Маяковском, „Окна сатиры РОСТА“ — текст — рисунки Маяковского. Реклама, лозунги плакатов, плакаты Маяковского. Маяковский на эстраде. Театр Маяковского. Маяковский в журнале».

Этот первоначальный план в процессе работы видоизменялся и на афише выглядел несколько иначе.

Маяковский не хотел делать акцента на биографии, но постепенно пришел к выводу: надо напомнить и о том, «что делал поэт до того, как он стал поэтом», нельзя не рассказать о таком прошлом, как тюрьма и подпольная работа.

— Цель выставки — показать многообразие работы поэта. В назидание молодежи и на страх дуракам. Чего стесняться, в самом деле! Предрассудки! Ведь никто не сообразит, не предложит сделать выставку. Ну, лишний раз назовут хвастуном и нахалом. Зато будет явная польза — и для читателей и для нашего поэтического дела.

Конечно, он понимал сложность такого замысла: ведь в ту пору не принято было устраивать прижизненных индивидуальных выставок писателей и поэтов. Но все же он решил сделать и для современников, а главное, для потомков. При Федерации объединений советских писателей была создана комиссия по организации выставки. Но фактически она ни разу не собралась.

Н. Н. Асеев написал от имени Рефа заявление в Главискусство:

«Мы, участники и деятели революционного фронта искусств, извещаем Главискусство об исполняющемся в декабре месяце этого года двадцатилетии деятельности крупнейшего и оригинальнейшего поэта современности Вл. Вл. Маяковского. Мы предлагаем отметить эту дату выставкой работ поэта под общим названием „Маяковский за 20 лет“, где были бы представлены все виды его деятельности, как-то: 1) книги поэта, которых к настоящему времени имеется до ста изданий, 2) газетная работа Маяковского, 3) агитплакат („Окна РОСТА“, рисунки и стихи поэта), 4) лекционная деятельность с подбором афиш и составленной картой его лекционных поездок.

Мы полагаем, что такой способ — наглядный показ работы — будет лучшим способом отметить значительность и плодотворность трудов этого крупнейшего мастера слава, чья фигура и до и после революции была наиболее своеобразным и блестящим явлением русской поэзии за много лет.

Мы предлагаем Главискусству предоставить нам помещение и дать нам материальную возможность посредством такой выставки ознакомить с творческим путем поэта широкие читательские массы».

Им же написана и заметка для газет:

«В первых числах января в помещении клуба ФОСПа (улица Воровского, 52) откроется выставка „Маяковский за 20 пет“. Это первый опыт подытоживания деятельности поэта путем собрания и экспонирования всех видов его работ. Вместо юбилеев, обычно отличающихся „фальшивой важностью речей и чувств бумажным выраженьем“, эта выставка даст возможность широким кругам читателей убедиться, насколько многообразна, сложна и упорна бывает работа поэта, разрозненная в глазах современников на временные отрезки и никогда почти при жизни его не являющаяся во всем объеме ее полноты.

На выставке будут представлены издания стихов автора за двадцать лет. Одних этих изданий наберется до ста. Затем идут работы его в РОСТА — политические плакаты и материалы, связанные с лекционной работой в городах СССР. Отдельную часть выставки будут представлять театральные постановки пьес Маяковского, начиная с первой его „трагедии“. Кроме того, будут собраны газеты и журналы, в которых участвовал Маяковский своими произведениями. На выставке предполагаются доклады и беседы рефовцев с посетителями».

Асеев и я отправились в Главискусство. Там обещали сделать «все зависящее» и даже ассигновать какие-то средства. Однако дальше обещаний дело не пошло.

Мы просили предоставить выставке сто квадратных метров площади сроком на один месяц, начиная с 10 декабря. Открытие же по не зависящим от нас причинам оттянулось до 1 февраля 1930 года.

В конце концов нам выделили три комнаты в клубе писателей (поначалу две, а затем добились третьей).

Смету, весьма скромную, ФОСП утвердил в таком урезанном виде, что возникло сомнение в возможности вообще развернуть выставку. Я посоветовался с Маяковским и решил все же действовать.

— Если не хватит, я добавлю. Пустяки! — одобрил он. Владимир Владимирович вникал во всё и активно во всем участвовал. Он, например, указал на то, что «Окна РОСТА» можно получить в Музее Революции и в Третьяковской галерее; материал, связанный с его подпольной работой, — в Центроархиве. Книги и фото имеются у сестер, у Родченко и у других. Афиши находились у него самого, у меня, у Каменского — дореволюционные и первых лет революции. Недостающие я надеялся достать в Книжной палате. Но их там не оказалось. Журналы и газеты собирались по редакциям. В «Известиях», помню, нашелся весьма боевой мужчина, который в ответ на скромную просьбу резко выпалил: «Маяковскому — отказать». С трудом удалось приобрести несколько экземпляров газет из старых комплектов, уплатив за них… по номиналу.

Связались с редакциями провинциальных газет. Список, далеко не полный, составил Маяковский по вырезкам, которые получал. Просили отвечать по адресу художника А. М. Родченко. Мало кто удостоил ответом.

Наряду с перечисленными уже мной выставочными разделами был один весьма своеобразный: тысячи записок. Их сортировали по темам и городам знакомые Владимира Владимировича в его рабочем кабинете на Лубянке. Записки перепечатывались затем на машинке с большими интервалами, отделявшими одну от другой.

Маяковский предложил такой метод печатания, имея в виду свою будущую книгу («Универсальный ответ записочникам». В интервалы он хотел вписать свои ответы — расширить, углубить их, обобщить.

Владимир Владимирович просил, кроме «Окон РОСТА», достать и другие плакаты с его текстами, сделанные за последние годы на бытовые, противопожарные, санитарные и другие темы. Я раздобыл: «Гигиена труда», «Трудовая дисциплина», «За санкультуру», рекламные и прочие.

Большинство материалов хранилось и приводилось а порядок

в рабочей комнате на Лубянке.

30 декабря он устроил нечто вроде «летучей выставки» у себя дома — для друзей и знакомых, которые задумали превратить все это в шуточный юбилей, близкий духу юбиляра. Маяковского просили явиться попозже. На квартиру в Гендриков переулок (теперь — переулок Маяковского) принесли афиши, плакаты, книги, альбомы. Приглашая гостей, Владимир Владимирович предупреждал:

— Каждый должен захватить бутылку шампанского. Ничего больше не требую. Ведь это не встреча Нового года.

Когда я уходил от него накануне после делового свидания и спускался по лестнице, он порывисто открыл дверь и весело крикнул вслед:

— Не забудьте шампанское! Многие думают, что на мужа и жену можно ограничиться одной. Предупреждаю всех: бутылку на каждого человека!

Столовый стол вынесли — иначе гости не уместились, бы в комнате. Сидели на диванчиках с матерчатыми спинками, прибитыми к стенам, на подушках, набросанных на полу.

До прихода гостей явился М.М. Яншин (тогда муж Вероники Полонской), чтобы помочь разложить и развесить экспонаты. Мы с ним прикнопывали афиши даже к потолку. Наискосок красовалась длинная лента: М-А-Я-К-О-В-С-К-И-Й.

От В. Э. Мейерхольда привезли корзины с театральными костюмами. Вначале гости сами рылись и выбирали подходящие. Позже приехал Мейерхольд. Он активно помогал в подборе костюмов и масок (главным образом животных), бород, шляп и пр. Нарядились кто во что горазд.

Посреди комнаты уселся с гармонью Василий Каменский.[53]

Хором затянули шуточную кантату, сочиненную Семеном Кирсановым и исполнявшуюся под его дирижерством (мы ее отрепетировали до прихода хозяина):

Кантаты нашей строен крик. / Наш запевала Ося Брик,

Припев:

Владимир Маяковский, / Тебя воспеть пора.

От всех друзей московских / Ура, ура, ура!

Здесь Мейерхольд — и не один! / С ним костюмерный магазин.

Каждая строчка основного текста исполнялась два раза, припев же — один. Куплетов было пять-шесть.

Юбиляр сел верхом на стул, нацепил маску козла и серьезным блеянием отвечал на все «приветствия».

Зная отрицательное отношение Маяковского к юбилеям, гости приветствовали его в шутливо-пародийном стиле.

Николай Асеев перевоплотился в критика-зануду, который всю жизнь пристает к Маяковскому. Он произносит путаную, длиннющую речь и затем спохватывается, что попал не на тот юбилей. Он приветствовал, оказывается, другого поэта, Там были такие слова:

«Уважаемый товарищ Маяковский!

Как мне не неприятно, но я должен приветствовать вас от лица широких философских масс: Спинозы, Шопенгауэра и Анатолия Васильевича Луначарского. Дело в том, что творческие силы пробуждающегося класса должны найти своего Шекспира, своего Данте и своего Гете. Его появление детерминировано классовым самосознанием пролетариата. Воот, дааа… Если этого не произойдет, то искусство, может быть, действительно споет свою лебединскую песню.

Однако мы не пессимисты ни в малой степени. Пример тому конгениальность вашей поэзии, которая, будучи субъективно абсолютно соллипсична, объективно может оказаться и коллективистичной при изменившейся ситуации реконструкции нашего социалистического МАППовского хозяйства…»

И далее:

«…Действительно, предпосылкой моей поездки на воды был поднятый вокруг статей шум, но тем более следует видеть в этом вылазку классового врага, появление которого сигнализировано еще товарищем Островским а его комедии „Не все масленица коту, попадешься и в литпосту“. Итак, приветствуем вас, товарищ Маяковский, и от души поздравляем вас с выяснившимся теперь с непререкаемой убедительностью огромным значением недавно состоявшегося и воспринятого уже всеми назначения Анатолия Васильевича на пост заведующего ЗИФа. Мы будем и впредь товарищески отмечать всё, так или иначе влияющее на ваше творчество, твердо стоя как на передовых позиций РАППов, МАППов, так и на задних ЛАППов».

Маяковский блеял. Каменский на гармошке исполнил громкий туш.

Смеялись до слез.

Дочка художника Д. П. Штернберга зачитала «приветствие от школьников». Оно заканчивалось словами:

И все теперь твои мы дети, / В том смысле, что — ученики!

Лев Кассиль был инициатором и руководителем шарад. Строчки Маяковского «олицетворялись», причем отгадывать должен был автор. Среди многих других были такие: Кассиль усадил Асеева и его жену на диванчик: «Маленькая, но семья», Маяковский догадался.

Затем кто-то сел за стол, а Кассиль протянул ему лист

бумаги, резко положил вечное перо на стол и отошел. «Вот вам, товарищи, мое стило, и можете писать сами!» — тоже догадался сразу Маяковский.

Я вытащил расческу из кармана Мейерхольда и держал настойчиво у самого его лица. Это означало: «Гребенки — Мейерхольд» (из «Ужасающей фамильярности»).

Танцевали под баян, пели, пили шампанское, фотографировались. Уже под утро Маяковского с трудом упросили прочитать стихи.

Сперва он исполнил «Хорошее отношение к лошадям». Оно прозвучало более мрачно, чем обычно, но своеобразно и глубоко.

Другое стихотворение — «История про бублики и про бабу, не признающую республики» читал несколько рассеянно; в исполнении почти отсутствовали гротесковые интонации, присущие этой полулубочной сказке.

В последних числах января, за несколько дней до открытия выставки, материалы мы доставили в клуб писателей. Началась кипучая работа, с утра до поздней ночи.

Нередко приходилось читать о том, что Маяковский делал выставку чуть ли не самостоятельно, и читатель, не задумываясь, может принять этакое за истину. Это далеко не так и не следует приписывать выдающемуся поэту того, чего он просто физически не в силах был сделать. Да, он руководил, талантливо изобретал и сам трудился над оформлением: сортировал, распределял по щитам и витринам, сочинял надписи и даже иногда прибивал гвозди — словом, делал все, что приходилось. Но нельзя думать и тем более писать, что один человек в четыре дня соорудил такую выставку, несмотря на ее, казалось бы, скромные габариты. Нет, это не так!

По рекомендации Маяковского я договорился с молодым оформителем о его работе по скромной оплате, согласно смете. Фамилию его я забыл. Но помню только, что он усердно выполнял задания Владимира Владимировича, иногда проявляя и свою инициативу в эти напряженные дни до открытия выставки. Парень этот наведывался на протяжении трехнедельного показа выставки и помогал кое в чем.

Минуло почти сорок лет, и мне довелось прочитать заметки А. Бромберга о выставке («Дружба народов», 1968, № 7), в которых имелось имя оформителя — Виталия Горяева, рассказ которого он привел, опустив, правда, одну «мелкую» деталь: запись делалась автором заметок не в 1930 году, а через 35 лет, точнее, в шестидесятых годах, в дни проходившей в Центральном Доме литераторов выставки ныне известного талантливого художника Виталия Горяева.

Подготавливая новое издание своей книги, я решил встретиться с Горяевым, и мы провели к обоюдному удовольствию интересную беседу.

Немудрено, что в период подготовки выставки при напряженной пятимесячной работе в суматохе многое выветрилось из памяти. Одновременно я занимался и устройством выступлений поэта как в Москве, так и а Ленинграде.

Когда говорят, что в клубе писателей работали или бывали ежедневно (такое встречается неоднократно) во время оформления экспозиции, то у читателей порой создается впечатление, что непосредственная работа до открытия продолжалась по крайней мере несколько недель, и даже Бромберг не избежал этого преувеличения. А ведь материалы были доставлены в клуб писателей за четыре-пять дней до открытия (не ранее 28 января.)

В последние два дня экспозиция пополнялась самим Маяковским ценными книгами и документами. Накануне открытия выставки на мою долю выпала задача доставить два макета постановки Театра Мейерхольда «Клоп». Неожиданно я столкнулся с трудностями — несмотря на предварительную договоренность, администрация не брала на себя смелости разрешить вынести из театра хрупкие макеты: как бы на выставке с ними чего не случилось. Затратив много времени и сил, я добился цели лишь с помощью самого Всеволода Эмильевича Мейерхольда.

Я решил отказаться от грузового транспорта, чтоб не растрясти легкие макеты, и взамен привлек ребят, с тем чтоб донести на своих двоих — медленно, но без риска — от Садово-Триумфальной (ныне площадь Маяковского) до Кудринки (ныне площадь Восстания). Это как-никак около полутора километров.

Итак, вернемся к встрече моей с Горяевым через сорок пять лет после гибели Маяковского. Вот что рассказал Виталий Николаевич: «Мне было девятнадцать лет, когда я впервые попал в столицу в 1929 году, приехав из Читы, с тем чтобы поступить в технический вуз. Успешно сдал экзамены, получил койку в общежитии. Но одновременно я увлекался литературой — писал стихи и рассказы. До отъезда я отправил в Москву в адрес МАППа на консультацию свою и знакомых ребят литпродукцию.

В Москве я побывал в МАППе с целью узнать о моей папке с сочинениями. Но я не только не получил ответа, но и не смог добиться возврата наших произведений. Тут-то я встретил вас и робко поделился своей неудачей, как бы ища совета. И на мое счастье, вскоре пришел сюда Маяковский (очевидно, вы его

ждали), и меня с ним познакомили. Я ему поведал о своих обидах, по вашему совету, — еще бы, такое счастье привалило. Странно, Бромберг почему-то опустил ваше имя, а пишет, „подвернулся какой-то молодой человек“, хотя этим человеком были именно вы и об этом я ему говорил». Я признался Горяеву, что всего этого я не помню вовсе. И он продолжал: «Владимир Владимирович направился в МАПП и получил мою папку. Он предложил дать ему мои стихи, с тем что завтра он мне их вернет. И действительно, он вернул точно, не выразив при этом восторга от моего поэтического творчества. Но у меня в руках была и другая папка, которой Маяковский заинтересовался. Я ему сказал, что это не стихи, а рисунки. Он просмотрел оперативно и реагировал мгновенно и совсем неожиданно для меня. „Вы не поэт, — сказал Маяковский, — а художник“. Узнав от меня, что я принят в училище имени Баумана, он спросил: „А что вы будете делать по окончании?“ Я ответил: „Строить мосты“.

Владимир Владимирович не соглашался: „Этим займутся другие, а я попробую вас переключить“, - и тут же позвонил Павлу Ивановичу Новицкому, директору ВХУТЕИНа, уговорив его, несмотря на уже закончившийся прием, сделать исключение для меня. Я был ошарашен и растерян, и в конечном счете меня зачислили во ВХУТЕИН, и я — художник! Вот и судите. Надо полагать, что моим благодетелем и стал Маяковский», — резюмировал Горяев.

В горячие дни оформления выставки изредка приходили друзья поэта, но они больше смотрели, нежели работали. А потом они и вовсе исчезли — рассорились с Маяковским (именно в это время он ушел из Рефа и вступал в РАПП. Это и была одна из основных причин ссоры).

В недельный срок типографии не брались отпечатать каталог, и пришлось прибегнуть к стеклографии.

По Москве красовались афиши: / «Федерация Советских писателей / Революционный фронт искусств (Реф) / Клуб писателей (ул. Воровского, 52) / 1 февраля открывается выставка / 20 лет РАБОТЫ МАЯКОВСКОГО

Показывает: 1) Книги, 2) Детское, 3) Журналы, 4) Газеты Москвы, 5) Газеты СССР, 6) Плакаты, 7) „Окна сатиры“, 8) Реклама, 9) Выступления, 10) Театр, 11) Записки, 12) Критика, 13) Кино, 14) Радио, 15) Биография.

Выставка продлится 15 дней. На выставке: Объяснения работников Рефа / (аудитория) / Выступления Маяковского. / Выставка открыта ежедневно с 12 до 5 ч. 30 мин. / ВХОД — ВСЕМ! / (бесплатно)»

Маяковский составил текст пригласительного билета:

«Федерация Советских писателей / Товарищ! / Реф / приглашает Вас на открытие выставки / 20 ЛЕТ / РАБОТЫ / МАЯКОВСКОГО / 1-го февраля, 5 ч. дня (в 7 ч. 30 мин. — выступление Рефа и Маяковского),

Клуб писателей, ул Воровского, 52».

И составил список, кому в первую очередь отправить билеты.

— Ну, остальных — писателей и театры — вы сами знаете. Допишите. Не забудьте Кукрыниксов!

Одолев всяческие препятствия, мы наконец, забив последние гвоздики (хотя хватило работы и на завтра, до самой минуты открытия), возвращались поздней ночью под 1 февраля домой. Несмотря на усталость, Маяковский предложил добежать на морозе до Арбатской площади, чтобы «схватить такси», и так зашагал, что мне пришлось действительно бежать за ним.

И вот — выставка открыта.

При входе лежала тетрадь, в которой расписывались посетители. В ней было две графы: имя и профессия. За первые часы (потом, в толкотне, расписывались немногие) отметились 44 вузовца, 36 учащихся (привожу профессии так, как их обозначали сами посетители), 18 рабочих и работниц (в их числе: 2 слесаря, кочегар, чернорабочий), 8 журналистов, 3 поэта (один из них Сулейман Рустам), 2 литератора, художник (А. Редькин), научный работник Бромберг, литературовед (А. Цинговатов), работник МХАТа (П. Марков), Б. Малкин — близкий знакомый Маяковского (без указания профессии), переводчица, репортер, 3 библиотекаря, библиограф, востоковед, юрист, 4 экономиста.

2 февраля в тетради появились подписи: Б. Ливанов (актер), 3-го — Весо Жгенти (писатель), 4-го — Вадим Баян (литератор), С. Кац (пианист), С. Сутоцкий (книгоуч). Расписался и один служащий ФОСПа (то есть того учреждения, в помещении которого находилась выставка).

В последующие дни выставку посетили Эдуард Багрицкий, М. Куприянов, П. Крылов, Н. Соколов (Кукрыниксы) и др.

Затем в тетради возникли подписи посетителей, по-разному трактующих простое слово «профессия».

Например, в графе «профессия» кто-то подмахнул: «Нету» и: «Случайно зашел не от любви к Маяковскому».

В этой же графе в последующие дни появились, среди прочих, такие записи:

работница, / врач, / помреж, / повар, / телефонистка, / юный натуралист «Молодой гвардии», / член коллегии защитников, / трикотажник и трикотажница, / лишенец, / «кандидат в поэтессы», / отв. буфетчик, / краснофлотец-литератор, / литейщик, / плотник, / стереотипер, / администратор театра, /

красноармейцы, / глухонемая, / инвалид труда, / башмачник и жена его перетяжчица, / гравер, / «инвалид революции», / зуботехник «начинающий», / фрезеровщик, / технический редактор, / кузнец — теперь как выдвиженец — завотделом, / домохозяйка, / учащаяся на слесаря, / курьер Колхозцентра, / «ручная тележка», / пионер, / машинистка, / психолог, / токарь, / психотехник, / «конный эскадрон», / корректор, / скульптор, / председатель редколлегии, / критик, / сапожник, / демобилизованный, / очеркист, / «шахсекция», / певчий, / мукомол, / политпросветработник, / точильщиц, / медсестра, / инструктор верховой езды.

На столах лежали каталоги в зеленой обложке, и на них грязноватым шрифтом: «20 лет работы Маяковского». Предисловие подписано Рефом:

«В. В. Маяковский прежде всего — поэт-агитатор, поэт-пропагандист, поэт — на любом участке слова — стремящийся стать активным участником социалистические строительства. Основная работа Маяковского развернулась за 12 лет Революции. Сегодняшняя выставка должна расширить взгляд на труд поэта — каждого начинающего работать над словом. Газета, плакат, лозунг, диспут, реклама, высокомерно отстраняемые чистыми лириками-эстетами, — выставлены как важнейший род литературного оружия».

В конференц-зале бросались в глаза щиты с книгами Маяковского: их было 72 на русском языке и несколько на языках братских республик и на иностранных (одна — на японском). Особое внимание привлекали первые издания дореволюционных произведений, в том числе корректура неизданной книги «Кофта фата». Здесь же находились сборники «Пощечина общественному вкусу», «Простое, как мычание». Над книгами висели афиши.

Внизу уголок: «Маяковский — детям» — 13 книг. Под двумя щитами значилось: «Книги Маяковского — всего около 1 250000 экз.».

Рядом, от потолка до пола, огромный лозунг-плакат:

1 / Помните — мы работали / без красок. / без бумаги / и / без художественных традиций / в десятиградусном / морозе / и / в дыму «буржуек» / с / единственной целью — / отстоять Республику Советов, / помочь / обороне, / чистке, / стройке. / 2 / Чтоб эта выставка / стала полной — / надо перенести сюда / трамваи / и / поезда, / расписанные / боевыми / строками. / Атаки, / горланившие частушки. / Заборы, / стены / и флаги, / проходившие / под / Кремлем, / раскидывая / огонь / лозунгов.

Среди журналов, на отдельной большой витрине — «1-й журнал российских футуристов», «Взял», «Новый сатирикон», все

советские журналы, в том числе «Изобретатель», «За рулем». «Женский журнал», «Трезвость и культура», «Радиослушатель», «Пионер», «Октябрьские всходы».

В разделе «Книги о Маяковском» были выставлены: «Ленин» Яхонтова, «Маяковский-футурист» В. Сперанского, «Диалог Есенина с Маяковским» И. В. Грузинова и ноты «Левого марша» С. Каца.

На стенде «Газеты Москвы» были выставлены: «Газета футуристов», «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Электрозавод», «Кооперативная деревня». (Всего их было 16.)

Отдельно — «Газеты СССР» (35 названий): «Ойротский край», «Бурят-Монгольская правда», «Уральский рабочий», «Амурская правда», «Барабинская деревня», «Красноармеец», «Шуйский пролетарий», «Звезда Алтая», «Червоноармеец», «Красный Дагестан», «Средневолжская деревня», «Бакинский рабочий» и другие.

В левом углу щита с газетами висела крупная надпись: «Маяковский не понятен массами», причем слова «не понятен» были нарисованы гораздо мельче, чем остальные, так что издали казалось: «Маяковский… массам».

В противоположном углу посетители знакомились с макетами постановок «Мистерии-буфф» и «Клопа», с картой поездок по Союзу и большой диаграммой «Маяковский на эстраде» (1926–1930) — 150850 слушателей, 54 города-кружка. Стены были увешаны сорока афишами, среди которых: «Футуристы» (дореволюционные выступления в Казани и Киеве), «Дирижер трех Америк» (московская), «Как писать стихи», афиши московских и ленинградских постановок «Клопа» и «Бани». Рядом — афиша совместного выступления с Асеевым — «Даешь изящную жизнь», афиши вечеров и диспутов с участием Маяковского — «Быт и религия», «Леф или блеф?», «Вечер 6 журналов». Наконец, плакаты, в том числе «Мистерия-буфф» (первая постановка пьесы), два плаката кинофильмов: «Не для денег родившийся» и «Закованная фильмой». в которых в 1918 году играл Маяковский (он же, как известно, автор сценариев).

Последние две витрины были посвящены «Лаборатории» — рукописям Маяковского и его «Биографии» — тут висела фотография, снятая в московской охранке, и документы «Дела Маяковского».

На столе, кроме каталогов, лежали папки с записками, альбомы «Окон РОСТА», альбомы со статьями о книгах и выступлениях (отдельным альбом был посвящен статьям иностранной прессы), с карикатурами и фото.

Во второй и третьей комнатах: «Окна сатиры РОСТА», плакаты Помгола (Организация помощи голодающим, которая существовала с 18 июля 1921 года по 22 октября 1922 года) и остальные: «Вопросы труда» («Прогульщика богомольца с завода вон», «Даешь пятилетку в четыре года» и т. д. — всего двадцать), «Охрана здоровья» («Мой руки», «Плюй в урну» и др.), «Техника безопасности», «Профсоюзные плакаты» и, наконец, «Реклама».

Маяковский в первый день не уходил с выставки. Он как хозяин принимал посетителей, давал объяснения, водил от щита к щиту.

Когда публика вдоволь побродила по комнатам (бродить, впрочем, было трудно, приходилось проталкиваться), все перешли в зрительный зал. Там заполнены все щели. На сцене расселась молодежь, которая как бы заменила официальный президиум. Маяковский прочел «Во весь голос».

Слушайте, / товарищи потомки, / агитатора, / горлана-главаря. / Заглуша / поэзии потоки, / я шагну / через лирические томики, / как живой / с живыми говоря.

В зале воцарилась атмосфера необычайной взволнованности.

Слово предоставили посетителям.

Выступил рабочий. Он говорил о том, что Маяковский крайне нужен нашему времени, так как он затрагивает все стороны общественной жизни. Он сожалел, что в печати выставка не освещена.

— Ни один поэт не пользуется на Украине такой любовью, как Маяковский, — говорил украинский товарищ.

А. Бромберг, заменявший экскурсовода и помогавший оформлять выставку, огласил просьбу Ленинской библиотеки — передать выставку в ее ведение. Маяковский согласился при условии, что для нее найдут нужное помещение и организуют ее показ в рабочих клубах Москвы и других городах Союза.

— Дабы был энтузиазм ее пополнять новыми материалами!

Сотрудник «Пионерской правды» сказал, что выставка имеет значение для всего строительства социализма.

По просьбе аудитории слово взял Виктор Шкловский:

— Маяковский за двадцать лет не дал ни одной ненужной вещи!

Студент 2-го МГУ сетовал на то, что в учебных программах школ и вузов нет произведений Маяковского.

Раздались требования: предоставить выставке постоянное помещение, сделать копии выставки и послать их а рабочие клубы.

Группа литературной молодежи, объединенной при «Комсомольской правде», объявила себя ударной бригадой по

осуществлению выдвинутых предложений. Здесь же они распределили между собой обязанности: одни должны были заняться пропагандой выставки в рабочих клубах, другие — добиться включений произведений Маяковского в учебные программы вузов и школ и взяться за организацию переводов его произведений на иностранные языки, третьи — подготовить копии выставки, четвертые- собрать и обработать материалы о Маяковском.

Закончился первый день. Потом ежедневно здесь бывали сотни людей.

Мать и сестры Владимира Владимировича несколько раз были на выставке. Как-то днем Александра Алексеевна (мать поэта) с Людмилой Владимировной осматривали выставку. Маяковский был трогательно внимателен к ним, водил по выставке, вспоминал.

— Вы, наверное, устали? — беспокоился он о матери (Маяковский был с матерью на «вы»).

Прощаясь, он поцеловал ее, а свидетелям этой сцены сказал, словно извиняясь:

— Ну, маму поцеловать можно!

Выставка имела успех, и ее продлили на семь дней. Это радовало Маяковского. На оставшихся запасных афишах прямо по тексту красным напечатали: «Выставка продлена». В таком виде она и красовалась на улицах Москвы.

Отзывы о выставке:

«Дорогой товарищ, я только узнал твое творчество тогда, когда начал учиться. Работа в типографии, фронт и учеба — нет времени следить за литературой. А вот выставка мне открыла твое творчество, ценное: ты также сражался с нами вместе — поэтому ты наш. Лихачев».

«…Вопреки крикунам и приверженцам „чистого искусства“ Вы сумели показать на деле правильность Вашей литературной позиции. Считаю, что выставку необходимо продлить с тем, чтобы каждый рабочий имел возможность просмотреть работу подлинно пролетарского поэта. Если же не удается продлить срок выставки, хорошо было бы перевести куда-нибудь на предприятие. С приветом, рабочий Довшан».

«Выставка — неполные вехи славного, большого и тяжелого пути борца, художника и поэта революции. У многих ли такой путь? Нет, у немногих. Многие ли связали так свою жизнь, свое творчество, каждый шаг их с революцией, с ее героикой и буднями? Нет, немногие… Лучшие… Славнейшие… Учитесь же, писаки и подлинные писатели, у Маяковского работать на революцию и для революции. И у него есть ошибки. Но их

исправите не вы, задыхающиеся в мутных клубах пара дискуссий, литературных сплетен, словорасточительных междоусобиц. Не вы. А мы, маленькие и незаметные строители социализма, рабочие и крестьяне, исправим ошибки своего писателя — поэта-коммуниста. Учитесь у Маяковского подчинять каждый шаг своего творчества, своей жизни делу революции… А выставку вытащите на окраины, в клубы, в дома комсомола. Там, а не здесь — истинные ценители искусства. Комсомолец, бил. № 220–741, железнодорожник».

Бригада предложила после закрытия выставки перевести ее в Дом комсомола Красной Пресни. Однако еще раньше Маяковский решил показать ее в Ленинграде. Я договорился с Ленинградским домом печати о сроках. Приехав на место, убедился, что здесь не позаботились о том, чтобы достойно принять выставку. Пришлось не только самому все налаживать, но и позвонить Маяковскому. Он приехал, и все закрутилось стремительно. Так же, как в Москве, помогали добровольцы. Среди них одна девушка. Она заглянула случайно. И проработала весь день (кажется, ее фамилия Урванцева). На открытии писателей маловато, а журналистов значительно больше. Маяковский, как и в Москве, читал «Во весь голос».

Будучи в Ленинграде, Владимир Владимирович выступал у студентов: 4 марта — в университете и в пединституте им. Герцена, 5-го открылась выставка, 6-го — в Институте народного хозяйства — это было его последнее выступление а Ленинграде. В 9.50 вечера он уехал в Москву.

К сожалению, выставка просуществовала лишь 6 дней. Посещали ее довольно дружно. Но было бы, я полагаю, значительно больше народу, если б не «маленькое» упущение: администрация Дома печати умудрилась напечатать часы посещения наоборот: не с 4 до 10 вечера, а с 10 до 4 (в рабочие часы). Положение удалось выправить лишь частично, путем объявлений по радио и в газете.

Воспользовавшись отъездом Маяковского накануне закрытия, директор Дома печати тут же стал разбирать выставку, порвал на моих глазах плакат и афишу.

Мне удалось приостановить это безобразие, но о продлении выставки в таких условиях думать не приходилось.

В Ленинграде я получил письмо:

«Пишут Вам бригадники Кольцова и Бессонов. Сообщите нам точно, когда закрывается выставка. Если она приедет к 13-му, то пойдет в Трехгорку, если же задержится, то можно отложить до 13-го, так как к этому числу просит выставку Центральный Дом комсомола Красной Пресни, где гораздо ценней отчитаться перед

комсомольским активом».

Кроме М. Кольцовой и В. Бессонова, подписавших это письмо, весьма активное участие в бригаде принимали товарищи А. Бромберг и В. Славинекий. Благодаря их помощи 18 марта выставка вновь открылась в Москве, а 25-го было закрытие ее.

В этот день Маяковский был среди комсомольцев, давал объяснения, прислушивался к замечаниям. Затем собрались в большом зале. Председательствовал редактор «Комсомольской правды» Андрей Троицкий. Маяковский произнес речь. Я позволю себе привести выдержки из нее:

— Товарищ председатель очень пышно охарактеризовал, что я буду делать доклад, да еще о своем творчестве. Я и доклада делать не буду, и не знаю, можно ли назвать так высокопарно творчеством то, что я сделал. Не в этом совершенно дело, товарищи. 20 лет — это очень легко юбилей отпраздновать, собрать книжки, избрать здесь бородатый президиум, пяти-десяти людям сказать о своих заслугах, попросить хороших знакомых, чтобы они больше не ругались в газетах и написали сочувствующие статьи, — и, глядишь, что-нибудь навернется с этого дела…

И дальше:

— Теперь от этого я на пять минут перейду к моей выставке. Для чего я ее устроил? Я ее устроил потому, что ввиду моего драчливого характера на меня столько собак вешали и в стольких грехах меня обвиняли, которые есть у меня и которых нет, что иной раз мне кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтоб только ругани не слышать.

Но, конечно, я на второй день от этого пессимизма опять приободряюсь и, засучив рукава, начинаю драться, определяя свое право на существование как писателя революции, для революции, а не отщепенца. Смысл этой выставки — показать, что писатель-революционер — не отщепенец, стишки которого записываются в книжку и лежат на полке и пропыливаются, но писатель-революционер является человеком, участником повседневной будничной жизни и строительства социализма.

Товарищи, вторая моя задача — это показать количество работы. Для чего это мне нужно? Чтобы показать, что не то что восьмичасовой рабочий день, а шестнадцати-восемнадцатичасовой рабочий день характерен для поэта, перед которым стоят огромные задачи, стоящие сейчас перед Республикой. Показать, что нам отдыхать некогда, но нужно изо дня в день не покладая рук работать пером.

НЕПОПРАВИМОЕ

К концу жизни (начиная с 28 сентября 1929 года) у Маяковского произошли тяжелые события, которые нанесли ему огромную травму.

Ссылаться на то, что вопрос о причине гибели поэта решит будущее, — было бы неправильным.

Таинственность, с одной стороны, противоречивость — с другой, приводят к кривотолкам, порождают сплетни, и все это, вместе взятое, искажает облик большого поэта и большого человека.

Чтобы избежать этого, необходимо осветить обстоятельства жизни поэта в последний период.

Маяковский в предсмертном письме объясняет катастрофу личными мотивами — «любовная лодка разбилась о быт…». Но в этом же письме говорится о споре с Ермиловым. Следовательно, расшифровать письмо можно по-разному. Сейчас уже мало кто отважится утверждать, что предсмертная записка поэта дает исчерпывающее объяснение истинных причин трагедии.

Каковы же эти обстоятельства?

Я уже упомянул о том, что сама по себе выставка привлекла множество людей, особенно молодежь. Однако там почти отсутствовали писатели. На фоне общего успеха выставки отсутствие литераторов напоминало своеобразный бойкот. Владимир Владимирович, конечно, это переживал, хотя и предвидел в какой-то мере.

Если и приходили писатели, то их можно было перечесть по пальцам. Единственный рефовец, пришедший на открытие, — О. М. Брик. Выделялся своим присутствием Виктор Шкловский, который после ликвидации Лефа в Рефе уже не состоял. Замечу, он был одним из самых давних знакомых Маяковского (с 1912 года).

Старых соратников по Лефу — Рефу вовсе не было ни на открытии, ни в последующие дни. К этому времени они порвали отношения с Маяковским.

В афише предусматривалась такая подробность: «Объяснения работников Реф». На самом же деле на выставке рефовцев не было и в помине.

Среди тех, кто упрощенно толковал причины самоубийства Маяковского, обвиняя чуть ли не во всем рапповцев, недружелюбно встретивших поэта, были и его друзья-рефовцы. А их разрыв с Маяковским из-за его перехода в РАПП принес ему

немало огорчений.

Но Маяковский, судя по всему, смотрел на переход иными глазами. Ведь еще год назад он писал о том, что «мелкие дробления себя изжили, и вместо групповых объединений литературе необходимо сплотиться вокруг организаций, ведущих массовую агитлитературную работу…»[54].

Таким образом, есть основание полагать, что Маяковский считал РАПП лишь переходным этапом, до той поры, пока все существующие группировки не сопьются в единую писательскую семью.

Говоря об апрельских, последних днях поэта, Валентин Катаев в «Траве забвении» высказывается несколько иначе. Он пишет: «Я думаю, он уже понимал, что, в сущности, РАПП такой же вздор, как и Леф. Литературная позиция — не больше».

После ликвидации РАППа в 1932 году до открытия Первого съезда писателей в 1934 году на одном из пленумов А. Фадеев, как бы подтверждая мысль Маяковского, сказал: «Конечно, групповщина — это большой тормоз к серьезному размаху художественного творчества, потому что не дает возможности объективно оценивать произведения. Группы раздирают людей на части. Недостатки, художественные ошибки своих они прощают скорее. А малейший недостаток противника сейчас же вскрывается, и на него бросается представитель той или иной группы».

Накануне произошла, очевидно, крупная размолвка: Маяковский решил перейти в РАПП, и его соратники восприняли такую акцию как измену, и в их глазах Маяковский выглядел в ту пору чуть ли не ренегатом.

Владимир Владимирович подал заявление в правление РАППа:

«В осуществление лозунга консолидации всех сил пролетарской литературы прошу принять меня в РАПП.

1) Никаких разногласий по основной литературно-политической линии партии, проводимой ВОАППОм, у меня нет и не было.

2) Художественно-методологические разногласия могут быть разрешены с пользой для дела пролетарской литературы в пределах ассоциации.

Считаю, что все активные рефовцы должны сделать такой же вывод, продиктованный всей нашей предыдущей работой.

3/1-1930 г.» Вл. Маяковский

До сих пор подвергается сомнению дата, начертанная Маяковским на заявлении. Предполагают, что это описка. Но доказать это трудно. В конце концов, быть может, этот вопрос не

так уж и принципиален. Но, анализируя все сопутствующие обстоятельства, можно сказать: вероятнее всего, он сдал заявление в феврале, после открытия выставки. Споры между рефовцами длились, очевидно, не один день.

Юрий Либединский, один из руководителей РАППа, в своей книге воспоминаний «Современники» так оценивает обстановку тех дней:

«Наши два литературных направления в то время казались нам абсолютно исключающими друг друга и враждебными» — и дальше: «Вступление Маяковского в РАПП произошло не потому, что РАПП к этому времени стала особенно хороша, — наоборот, РАПП именно в это время стала перерождаться в организацию бюрократическую. Для Маяковского вступление было важнейшим шагом политического и художественного развития. Оно было обусловлено внутренней эволюцией большого поэта, тем, что он, едва ли не первый в советской литературе, осознал процесс складывающегося единства всей советской, уже по-социалистически перестраивающейся, литературы».

Говоря о том, как растерялось руководство РАППа при приеме Маяковского, Юрий Николаевич подчеркивает, что его даже не ввели в правление РАППа, что следовало сделать бы на этой же конференции.

У него же прозвучала и прямо самокритичная нота:

«Мы, рапповцы, не сумели окружить его дружбой и вниманием, которых он заслуживал, — это-то, очевидно, и создало у него ощущение одиночества, а ведь именно это ощущение он переносил особенно трагически. Вступление Маяковского в РАПП и его самоубийство слишком близки по времени, чтобы мы могли снять с себя ответственность за эту страшную и подлинно ничем не возместимую утрату. Маяковский покончил жизнь самоубийством в расцвете своего огромного таланта».

Когда Маяковский подал заявление о приеме в РАПП, в руководстве ассоциации возникли разногласия: как быть? Но Маяковский — это Маяковский. Его приняли в РАПП, правда с оговорками. В передовой рапповского органа «На литературном посту», посвященной итогам конференции МАППа, появилось такое «наставление»:

«Вступление в РАПП на московской конференции товарищей Маяковского, Багрицкого и Луговского[55] является очень серьезным социальным показателем. Само собой разумеется, что вступление этих товарищей в РАПП отнюдь не означает, что они стали пролетарскими писателями. Им еще предстоит сложная и трудная работа над собой для того, чтобы стать пролетарскими

писателями, и напостовское, большевистское ядро пролетарской литературы должно оказывать всяческую помощь им в этом отношении».

В наши дни эти поучения могут вызвать улыбку. Во времена же борьбы группировок, приобретавшей порой весьма резкий характер, даже Маяковский реагировал на такие «дружеские поучения» весьма болезненно.

Бывшие соратники по Лефу и Рефу разорвали отношения с Маяковским. В РАППе он ощущал одиночество. Вслед за этими потрясениями — поток резко отрицательных рецензий на «Баню» в Ленинграде (в феврале) и в Москве, на спектакль в Театре имени Мейерхольда (в марте).

Один из отзывов появился в «Правде» за подписью В. Ермилова, за неделю до мейерхольдовской премьеры. В статье освещались общие проблемы драматургии — речь шла главным образом о пьесах Безыменского и Сельвинского, поставленных Мейерхольдом. Вскользь там критиковалась «Баня», которую Ермилов полностью не читал (к этому времени была опубликована лишь часть пьесы), что он предусмотрительно оговорил. Маяковскому было отведено в обзоре скромное место, однако эта статья имела для поэта очень неприятные последствия: после премьеры появилось около пятнадцати отрицательных рецензий.

Сюда же примыкает факт, снискавший себе печальную славу — лозунги к спектаклю «Баня». Лозунги предназначались Маяковским для сцены и для зрительного зала. Один из них был ответом на резкие нападки Ермилова:

Сразу / не выпарить / бюрократов рой. / Не хватит / ни бань / и ни мыла вам. / А еще / бюрократам / помогает перо / критиков — / вроде Ермилова…

После премьеры, под давлением правления РАППа, Маяковский снял лозунги. Вот чем вызваны слова в предсмертном письме поэта: «Товарищи Рапповцы, не считайте меня малодушным. Серьезно — ничего не поделаешь. / Привет. / Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг, надо бы доругаться. / В. М.».

Ю.Н. Либединский сообщает и о том, как Маяковского «прорабатывали» на секретариате РАППа в связи с постановкой его пьес, добавляя при этом, что делали это мелочно и назидательно, — драматургия Маяковского явно не втискивалась в рамки рапповских догм.

Маяковский не раз публично читал отрывки из «Бани». Рассказывая о работе над пьесой, он подчеркивал:

— Я считаю, что каждая последующая пьеса должна быть

значительно лучше предыдущей.

В данном конкретном случае он имел в виду «Клопа» и «Баню». Эта же мысль подтверждается, когда он говорит о том, с какой предельной добросовестностью работал над каждым словом «Бани».

Таким образом, острота реакции на предвзятость тона некоторых рецензий, на диспуты с подчас топорными высказываниями, на совещание в редакции газеты, с тенденцией умалить достоинства пьесы усиливалась тем, что поэт сам «знал силу слов» своей последней пьесы.

Однажды под впечатлением очередной рецензии на «Баню» Маяковский стал рассуждать о принципах театральных отчетов вообще:

— Таких не должно быть! Как можно дать полезный, исчерпывающий отчет о спектакле или кинофильме после первого просмотра? Я считаю, не менее 2–3 раз, по крайней мере, надо смотреть постановку, чтоб попытаться сделать настоящий разбор. У нас же иногда газета спешит дать отчет о сегодняшнем вечернем спектакле, чуть ли не в завтрашнем утреннем номере, боясь, как бы конкурент не опередил. Почти безошибочно можно утверждать, что ничего путного из такой статьи не получится.

Действительно, вот какие отзывы появились в печати.

«Рабочая газета», например, писала:

«Фигуры сделаны в плане грубого шаржа и напоминают не живых людей, а размалеванных кукол.

То, что у Безыменского в „Выстреле“ является подлинной советской сатирой, здесь превращено в холодный и грубый гротеск, цинично искажая действительность.

Его „машина времени“ и „фосфорическая женщина“ — трескучая и холодная болтовня.

Утомительный, запутанный спектакль. Рабочему зрителю такая баня вряд ли придется по вкусу».

(Кстати, автор не упомянул о постановке и об исполнителях. А без этих компонентов не может быть рецензии о спектакле в целом).

В «Нашей газете» было напечатано:

«Пьеса для наших дней звучит несерьезно. Мейерхольд спасал чисто фельетонный текст Маяковского, интересный в чтении и бесцветный на сцене, особенно в исполнении мейерхольдовских актеров (исключение Штраух — Победоносиков). Спектакль — провал».

Явное противоречие. Если пьеса «звучит несерьезно», каким же образом текст — «интересный в чтении»? Рецензент то ли слушал пьесу в авторском исполнении, то ли читал ее в отрывках.

Ясно одно: коли «интересна в чтении», значит, вина ложится не на автора. И хотя сложность и трудность воспроизведения «Бани» на сцене несомненна, ставил-то ее талантливый режиссер! Расценить этот спектакль как абсолютный провал уж никак нельзя.

Маяковский метался. Ничем иным, как повышенной нервозностью, не объяснишь его противоречивые высказывания,

На совещании в «Вечерней Москве» он заявил, что не считает «Баню» неудачей, наоборот, он оценивает как крупный успех театра эту постановку. Но главная вина за то, что пьеса частично «не доходит» до зрителя, лежит, по словам автора, на театре.

Артист Н. Мологин рассказывает о том, что Маяковский обвинил театр в искажении своей пьесы:

— Я считаю, что меня не поняли. Не поняли, откровенно говоря, не по моей только вине, а и по вине театров (*московский и ленинградский. — П. Л.*), которые не донесли всего, что я заложил в пьесу. И по вашей вине, товарищи актеры (из материалов музея Маяковского).

Из письма же к Л.Ю. Брик в Лондон мы узнаем несколько иное мнение Маяковского: «Мне, за исключением деталей, поправилась, по-моему, первая поставленная моя вещь. Прекрасен Штраух. Зрители до смешного поделились — одни говорят: никогда так не скучали; другие: никогда так не веселились. Что будут говорить и писать дальше — неведомо» (Письмо от 19 марте 1930 г. — В. Маяковский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 136–137).

Маяковский разобрался в некоторых ошибках Мейерхольда и однажды, достаточно сдержанно, высказал это: если бы сделали сцену по точным авторским ремаркам, мы достигли бы большего театрального эффекта.

А в 1936 году В.Э. Мейерхольд писал в «Советском искусстве»: «Когда я ставил его пьесы, я тоже не мог ему вполне соответствовать, я тоже не мог ему дать то, чего он от меня требовал. Маяковский строил свои пьесы, как до него никогда никто не строил».

Зарубцевать раны, нанесенные Маяковскому рецензентами, не могла даже выделявшаяся среди многих, в общем, положительная статья в «Правде» В. Попова-Дубовского (заведующий отделом литературы и искусства «Правды» (брат А.С. Серафимовича)), напечатанная, к сожалению, позднее других — лишь 8 апреля 1930 года. Автор кое-что критиковал, но в целом статья выглядела доброжелательной, объективной. Чувствовалось желание помочь разобраться в существе вопроса. Там есть такие места:

«Пьеса написана талантливым автором, поставлена талантливым режиссером в одном из культурных театров с особой тщательностью. Таким образом, мы имеем дело с серьезным театральным явлением, и это обязывает подойти к оценке его с необходимой объективностью»… «Эта политическая сатира остроумно, местами блестяще сделана. Здесь нащупана конкретная форма нового стиля, которая в дальнейшем будет модифицироваться в зависимости от материала, времени и обстановки. „Баня“ стоит на грани „обозрения“, но это не „обозрение“, а пьеса „циркового“ типа, который дает возможность создавать формы величайшей гибкости, способные вобрать в себя и ударно, весело, эмоционально-убедительно подавать разнообразный, живой материал нашей революционной эпохи. В этом основное значение последней пьесы В. Маяковского…» Статья заканчивалась таким рассуждением:

«Мейерхольд В. потратил на постановку „Бани“ много своей общепризнанной изобретательности. Ему удалось создать политический спектакль, в основу которого заложены принципы зрелищного массового искусства. Концентрация действия, плакатность, „упрощенность“ игры (а на самом деле очень сложная условность игры) — это есть нечто вновь найденное».

Возможно, воздействие автора на постановщика было бы интенсивнее, если б репетиции пьесы не совпали с тяжелой личной травмой — замужеством Татьяны Яковлевой. Ведь он хотел связать с ней свою судьбу!

В книге польского писателя Виктора Ворошильского (книга называется «Жизнь Маяковского») приводятся воспоминания Эльзы Триоле (французская писательница, сестра Л.Ю. Брик): «Когда Маяковский уехал а Россию, Татьяна вскоре вышла замуж. Я тогда написала Лиле: Татьяна вышла замуж, не говорите об этом Володе. Лиля всё мое письмо читала вслух и с разгона прочитала также и эти две фразы». Это было 23 января, в день отъезда Маяковского в Ленинград на просмотр «Бани».

Маяковский уехал из Парижа в апреле 1929 года, а Татьяна Яковлева вышла замуж 23 декабря того же года. Можно ли утверждать, что это было «скоро»?

В свой последний приезд в Париж Маяковский договорился с Татьяной о встрече осенью, с тем чтоб окончательно решить вопрос о переезде Татьяны в Москву. В июле он писал ей из Москвы: «Дальше октября (назначенного нами) мне совсем никак не представляется».

И — в другом письме: «Обдумай и посбирай мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим к моей надежде взять тебя на лапы и привезти к нам, к себе в Москву. Давай об этом думать, а

потом говорить. Сделаем нашу разлуку проверкой. Если любим — то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шагание по телеграфным столбам? Правильно я сказал или неправильно?».

Еще эмоциональнее и ярче говорит об этом «Письмо Татьяне Яковлевой», тогда еще не обнародованное:

В поцелуе рук ли, / губ ли, / в дрожи тела / близких мне / красный / цвет / моих республик / тоже / должен / пламенеть. / Ты не думай, / щурясь просто / из-под выпрямленных дуг. / Иди сюда, / иди на перекресток / моих больших / и неуклюжих рук.

Верно и точно определил А.И. Метченко чувства поэта к Яковлевой в своей книге «Творчество Маяковского (1925 — 1930)»: «Это письмо любящего, но и в них не одна, а две темы, слившиеся воедино».

И письма-стихотворения, и письма «обыкновенные», адресованные Татьяне, полны любви и нежности: «Работать и ждать тебя — это единственная моя радость», и, заканчивая пьесу «Клоп», сообщает: «Работаю до ряби в глазах и до треска в пледах».

Еще до выхода в свет «Люди, годы, жизнь», выступая в Московском университете, Илья Эренбург сказал о Маяковском:

«Выставка. РАПП. Сердечные дела. Обостренная чувствительность. Он жил без обыкновенной человеческой кожи… Он сокрушал самого себя». (*Точнее — его сокрушили. — П. Л.*).

Виктор Борисович Шкловский в 1940 году писал: «Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь.

Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их.

Приятно видеть сразу двух хорошо сделанных людей».

Это интересно привести хотя бы потому, что Шкловский, зная об увлечении Маяковского, к сожалению, не знал, да и не мог знать, всех извилин судьбы, сопутствовавших в ту пору поэту.

Я уже ссылался на публикацию в «Русском литературном архиве». Р.О. Якобсон, впервые сообщивший о переписке Маяковского с Татьяной Яковлевой, приводит отрывки из этих писем.

Об одном из них, отправленном через недели две после возвращения из Парижа (в мае 1929 года): Маяковский молит Татьяну: «Пожалуйста, не ропщи на меня и не крой — столько было неприятностей от самых пушинных до слонячих размеров, что, право, на меня нельзя злобиться».

Отношение Татьяны к Маяковскому помогают понять и

письма ее к матери: «…Он такой колоссальный и физически и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след». Или: «С большой радостью жду его приезда осенью. Здесь нет людей его масштаба. В его отношениях к женщинам вообще (и ко мне в частности) он абсолютно джентльмен… Надо любить стихи, как я, и уж одно его вечное бормотание мне интересно. Ты помнишь мою любовь к стихам? Теперь она, конечно, разрослась вдвое».

В августе этого же года в письме к матери есть волнующие слова: «Мамуленька моя родная! Все будет хорошо. Ради бога не тревожься обо мне. Конечно, мне было бы так хорошо с тобой обо всем посоветоваться. Но что же делать?»

Но случилось непоправимое: Маяковский не смог получить выездные документы.

Окончательный отказ в выезде, вероятнее всего, он получил 28 сентября. Об этом же сообщает Р. Якобсон в «Русском литературном архиве» в Нью-Йорке, ссылаясь на письма Маяковского к Татьяне: «В конце сентября Маяковскому отказали в выездных документах».

Но отказ был не официальный, видимо, по наговору людей, не предвидевших, однако, последствий этого. Маяковский, конечно, ничего этого знать не мог.

Татьяна с грустью пишет домой: «Он не приедет в эту зиму в Париж».

Событие это двойной тяжестью отозвалось на Маяковском.

Сам по себе факт отказа в выезде за границу (это была бы его восьмая поездка) буквально сразил Владимира Владимировича, и, кроме того, исчезла надежда на долгожданную встречу с Татьяной.

Да тут еще до Татьяны дошли ложные слухи, что Маяковский женится в Москве.

Произошел разрыв: на последнее письмо Владимира Владимировича (датированное 5 октября 1929 года) она не ответила.

Итак, не дождавшись Маяковского, Татьяна вышла замуж (23 декабря 1929 года) за виконта Бертрана дю Плесси и вскоре поселилась в Варшаве (по месту работы ее мужа). Муж ее погиб в 1940 году, когда фашисты сбили его самолет над Гибралтаром (об этом сообщила Татьяна, исправив ошибку, допущенную в предыдущем издании книги). Спустя некоторое время Татьяна переехала со своим вторым мужем в США, где проживает и поныне.

Мы познакомились с письмами Татьяны к матери, с письмами Маяковского к Татьяне. Но ведь были и письма Татьяны к

Маяковскому! Где они? К сожалению, они «исчезли».

Хочется сказать и о другом. Татьяна писала в Пензу: «…Он всколыхнул во мне тоску по России». Или мы читаем такие строки: «…Когда я бывала с ним, мне казалось, что я в России, и после его отъезда я тоскую сильнее по России»… В этом же письме есть слова, обращенные к матери: «Ты не пугайся! Это во всяком случае не безнадежная любовь. Скорее наоборот. Его чувства настолько сильны, что нельзя их не отразить хотя бы в малой мере».

Надо полагать, попади Маяковский в Париж осенью 1929 года, быть может, чувство тоски по родине ускорило бы переезд Татьяны в Россию?

Своими тяжелыми переживаниями Татьяна делится с матерью вскоре после апрельской трагедии: «Мамулечка моя родная! Я ни одной минуты не думала, что я причина. Косвенная — да, потому что все это расшатало нервы, но не прямая, вообще. Не было единственной причины, а совокупность многих + болезнь. (*Под болезнью она разумела, конечно, расшатанные нервы, переутомление. — П. Л.*) Здесь тоже массу пишут, но как мало знали его — человека. Только теперь многие спохватились и говорят: „А ведь мы просмотрели самое главное, что было в его душе, самое властное, что привело его к такому концу“, — и все парижские критики, по-видимому, немного сконфужены бывшим поверхностным суждением. Пожалуйста, береги газеты…»

Спустя много лет после смерти Маяковского сестра Татьяны Яковлевой Людмила воскресила в памяти тяжелые дни, написав матери из Парижа: «Маяковского я узнала после его приезда из Парижа (*в Москве в 1929 г. — П. Л.*). Он меня разыскал и сразу стал обо мне заботиться, как если бы я была уже сестра его жены. Тут же меня спросил, что мне нужно для жизни? Я сказала 2 рубля в день. И он мне давал 60 рублей в месяц… Невероятно сильно переживал разлуку с Таней. Он только и жил тем, что ждал ее писем, и если писем не было, то начинались припадки отчаяния по размерам его колоссального темперамента!

А потом случилась драма. Маяковский был убежден, что, приехав в Париж, он увезет Таню, и страшная драма была для него, когда ему отказали в заграничном паспорте и он не смог примчаться и увезти Таню как свою жену».

В ряду печальных и тяжелых обстоятельств роковую роль сыграл вырванный из готового тиража журнала портрет Маяковского.

Маяковский, как мы уже знаем, передал свою выставку Ленинской библиотеке, точнее, Литературному музею при библиотеке. Но для того чтобы ее пополнять и экспонировать,

нужны были средства. Бригадники не пожелали ждать ассигнований. Они попросили Владимира Владимировича выступить с несколькими платными вечерами и вырученные деньги передать в фонд выставки.

Маяковский согласился, но просил учесть, что ему нездоровится: уже больше месяца его не покидал изнуряющий грипп. Решили ограничиться двумя вечерами — в Институте народного хозяйства имени Плеханова и во 2-м МГУ. (Теперь — Пединститут имени В.И. Ленина.)

Я договорился о вечерах на 9 и 11 апреля.

Аудитория Плехановского института заполнялась медленно: сказывалось, вероятно, и приближение зачетной сессии.

Маяковский нервничал. Его раздражал тусклый свет.

— Товарищи! — сказал он. — Меня едва уговорили выступить сегодня. Мне выступать надоело. (В зале засмеялись.) Я говорю серьезно. (Снова раздался смех.) Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи. (Кто-то хихикнул). А теперь, пока я жив, обо мне говорят много всяких глупостей и часто ругают.

Поэт читал «Во весь голос» и «Рассказ литейщика Ивана Козырева…», третью часть поэмы «Владимир Ильич Ленин» («Если б выставить в музее плачущего большевика…») и отрывки из «Хорошо!».

Ему дружно аплодировали.

Непривычно мрачный вид Маяковского насторожил одного из бригадников[56], и лишь в перерыве он отважился показать Владимиру Владимировичу вкладку из журнала «Печать и революция» — портрет Маяковского, который был вырван из готового тиража. Возмущаясь, он рассказал о том, где и как раздобыл вкладку…

На вкладке было напечатано:

«В. В. Маяковского, великого революционного поэта, замечательного революционера поэтического искусства, неутомимого поэтического соратника рабочего класса, горячо приветствует „Печать и революция“ по случаю 20-летия его творческой и общественной работы».

Владимир Владимирович выслушал, посмотрел вкладку и что-то тихо, невнятно сказал. Слова не запомнились. В памяти остался напряженный облик его. И хотя обстановка была мрачноватой, даже, пожалуй, удручающей, никому в голову не пришло бы, что мы присутствуем на его последнем выступлении.

Позднее выяснились подробности. Ответственный секретарь редакции журнала «Печать и революция» Р. Бершадский рассказал историю этой вкладки: в первых числах апреля он

позвонил Маяковскому и, желая, очевидно, приятно удивить юбиляра, рассказал о портрете с приветствием, помещенном в журнале. Приветствие тут же зачитал. Бершадский обещал первый контрольный экземпляр отправить Маяковскому. Владимир Владимирович сказал, что предпочитает сам зайти и лично поблагодарить редакцию.

Р. Бершадский рассказал и о том, как тогдашний начальник ГИЗа в письме, присланном в редакцию, возмущался, «как осмелились попутчика Маяковского назвать великим революционным поэтом». И тут же дал распоряжение изъять приветствие, а следовательно, и портрет — то есть целиком вкладку.

Можно спорить о том, следует ли вообще называть кого бы то ни было при жизни «великим». Но в той ситуации, в тяжелые минуты жизни поэта, вероятно, это окрылило бы его, во всяком случае, отвлекло бы от мрачных мыслей.

Прошло всего пять дней, и эпитет этот обрел свои права и с огромной силой зазвучал в устах миллионов, появился в печати, по всей стране. Я говорю о том дне, когда Маяковского не стало, о 14 апреле 1930 года.

Полагаю, что о вырванном портрете Маяковский узнал еще до выступления в институте, но видимым фактом это оскорбление стало именно теперь, на вечере девятого апреля.

А в довершение — отчасти из-за передавшейся залу нервозности Владимира Владимировича — атмосфера сгущалась. После перерыва пошли записки и выступления с мест. Несколько студентов заявили, что стихи Маяковского никому не понятны. Он ответил:

— Я не раз уже говорил, что лет через 15–20, когда культурный уровень трудящихся повысится, все мои стихи будут понятны так же, как, скажем, сейчас поэма «Ленин».

Какой-то студент приводил отдельные строки из ранних стихов Маяковского и говорил: «Какое отношение все это имеет к революции? Все о себе, и все непонятно».

Маяковский нервничал;

— Вырывать куски, строчки из контекста и так доказывать непонятность — значит заниматься демагогией.

Кто-то сказал, что у Маяковского якобы есть стихотворение, в котором на полутора страницах повторяется «тик-так, тик-так». Владимир Владимирович не выдержал:

— У меня нет таких стихов. Это ложь, клевета и фальсификация.

Какая-то студентка из задних рядов протестующе замахала рукой.

— Не машите ручкой! — сказал Маяковский. — От этого даже груши с дерева не посыплются, а здесь все-таки человек на эстраде.

И с горечью добавил:

— Я поражен безграмотностью некоторых товарищей. Не ожидал такого низкого культурного уровня студентов высокоуважаемого учреждения.

Тогда из первого ряда вскочил какой-то человек а очках и безудержно жестикулируя, заревел: «Де-ма-го-гия!» Маяковский — строго:

— Сядьте!

Аудитория несколько успокоилась.

— Мне непонятна ваша пьеса «Мистерия-буфф», — раздался чей-то голос.

— Товарищи! Ну что же там непонятного? — развел руками Маяковский. И в минуту раскрыл смысл пьесы.

Председатель собрания внес предложение:

— Разговоры прекратить и читать стихи. Поступили пожелания прослушать «Левый марш».

Поэт тут же выполнил просьбу.

— Товарищи! — сказал в заключение Маяковский. — Сегодня наше первое знакомство. Немного покричали, поругались. Я понимаю, что часть товарищей осталась недовольна резкостью моего тона. Но знайте: когда спорят о литературе, нельзя быть равнодушным. Приходится драться и кричать. Через несколько месяцев мы опять встретимся.

Когда мы сели в машину, он спохватился, что забыл палку. Раньше с ним никогда такого не случалось…

Минувшая зима была необычной и тяжелой. Помимо «Во весь голос» он закончил «Баню» и пантомиму для Госцирка «Москва горит». До премьеры «Бани» он читал пьесу в рабочих клубах, в Доме печати. Эти вечера напоминали диспуты. И наконец, выставка, требовавшая напряжения.

Приходилось ездить и в Ленинград в связи с приближающимися там премьерами в двух театрах.

Я уже упоминал, что месяца полтора его одолевал грипп. Он жаловался, что уже не чувствует, когда грипп кончается и когда снова начинается, а лечился в общем-то нерегулярно.

Одиннадцатого апреля я, как обычно, позвонил ему после десяти утра. Но, к моему удивлению, его не оказалось дома. К телефону подошла домработница Паша (два месяца Маяковский жил в квартире один — Л.Ю. и О.М. Брик были в отъезде) и на мой вопрос, помнит ли Владимир Владимирович о сегодняшнем своем выступлении, ответила утвердительно. Я просил ее еще раз

напомнить ему, когда вернется, и вторично передал адрес 2-го МГУ.

Маяковский до того ни разу не сорвал своего выступления. А тут его прождали около часа. Народу собралось много. Послали за ним на машине товарища: сперва на Лубянский проезд, потом на Таганку, в Гендриков переулок. Светофоров тогда не было, а движение в вечерний час — незначительное. Товарищ заметил впереди автомобиль, похожий на «Рено» Маяковского. Догнав его, он убедился, что не ошибся, и попросил шофера перерезать машине дорогу.

Произошел бурный диалог. Маяковский заявил, что ничего не знал о сегодняшнем выступлении. Он захлопнул дверцу машины, в которой сидела В. Полонская, и машина помчалась дальше.

Пришлось извиниться перед аудиторией и сослаться на болезнь Маяковского. Договорились, что о дне его выступления будет сообщено дополнительно.

Наутро, 12 апреля, я пришел к Владимиру Владимировичу, чтобы договориться о дате.

Маяковский лежал в постели. Рядом стул и на нем лист бумаги. Он что-то писал. Когда я, стоя в дверях, хотел приблизиться к нему, он меня мрачно остановил:

— Не подходите близко, а то можете заразиться. — При этом он перевернул лист и оторвался от письма.

Я удивился: сколько раз он заболевал при мне в дороге и никогда не говорил ничего подобного. Как я позже понял, тревожился он не о том: возле него лежало, вероятно, недописанное предсмертное письмо. И свидетель ему был ни к чему.

— Выступать не буду. Плохо себя чувствую, — сказал Маяковский. Потом: — Позвоните завтра.

Такой необычный прием меня ошарашил. В коридоре Паша еще раз подтвердила, что он помнил о вчерашнем выступлении.

Вслед за мной сюда явились навестить больного бывший редактор «Комсомольской правды» Тарас Костров и Виктор Шкловский. Между ними и Маяковским завязался интересный разговор, и я задержался. Шкловский говорил о публикации своих статей о «Войне и мире» Л. Толстого. Вскоре я удалился.

Весь день я находился под впечатлением этого свидания. В конце концов решил, что, очевидно, произошли какие-то неприятности с премьерой в цирке и, быть может, он еще переживает злосчастную историю с портретом.

Тринадцатого я позвонил по телефону, но Маяковского не было. Я оставил Паше телефон Дома Герцена, и днем Маяковский позвонил мне. Договорились, что приду к нему на следующий

день, как обычно, — в половине одиннадцатого утра.

Четырнадцатого была особенно теплая весенняя погода. Я пошел пешком. На Таганку явился раньше срока. Но Маяковского опять нет. Не понимаю, что это могло означать, — так рано он никогда не уходил. Удивлена и Паша: в первый раз случается такое, чтобы она его не застала. Маяковский ушел из дому, не прикоснувшись к приготовленному завтраку и не дождавшись своей машины.

Решил, что его вызвали в цирк, — ведь сегодня намечалась премьера. (Я забыл, что ее перенесли на 21 апреля). Паша посоветовала позвонить на Лубянку. Обрадовавшись мужскому голосу, я спросил: «Владимир Владимирович?» В ответ — скороговорка:

— Сейчас нельзя разговаривать. Маяковского больше нет.

Сразу я не понял смысла этой фразы. Позвонил вторично.

К телефону никто не подошел. Я направился домой. Медленно шел по Гендрикову переулку к Воронцовской улице.

До поворота оставалось несколько шагов, когда со стороны переулка донесся душераздирающий женский крик. Я обернулся и увидел бегущую ко мне Пашу.

— Павел Ильич, Павел Ильич! — задыхаясь, повторяла она. Я кинулся ей навстречу.

— Что случилось?

Она же, вся в слезах, только и могла произнести:

— Владимир Владимирович застрелился.

Я — стремглав к Таганке. Издали заметил на площади одно-единственное такси. Ворвавшись в машину, я видом и голосом своим испугал уже севшего в нее молодого человека, и он освободил машину.

Пять-семь минут — и я в Лубянском проезде.

Взбегаю на четвертый этаж.

Здесь — коммунальная квартира, одна из шести комнат которой была рабочим кабинетом Маяковского.

Соседи в основном на работе. Дома — трое, четверо. Они немного прояснили подробности сегодняшнего утра. В сочетании с тем, что я узнал постепенно, значительно позднее, теперь можно попытаться нарисовать картину последних часов и минут.

Необходимо вернуться к последнему увлечению поэта — Веронике Полонской.

Маяковский узнал от знакомых, что Полонская будет у Валентина Катаева. Вечером 13 апреля он пришел к Катаеву.

Просидев в большой компании (тут были, помимо хозяев, Ю. Олеша, художник В. Роскин и другие), Владимир Владимирович лишь на рассвете покинул квартиру Катаева на Сретенке.

Несмотря на плохое самочувствие, он вызвался проводить Полонскую и Яншина на Каланчевскую, домой. Попутчиком до Красных ворот оказался Василий Регинин. С Каланчевской Маяковский зашагал на Таганку. Прошло несколько часов, и он явился к Полонской, теперь уже в такси, с тем чтобы до репетиции успеть с ней поговорить, как вчера условились. Та же машина доставила их на Лубянский проезд. Вероника торопилась на репетицию. Она впервые получила заметную роль в готовящейся на малой сцене МХАТа инсценировке по роману Виктора Нина «По ту сторону» (пьеса называлась «Наша молодость»). Владимир Владимирович уговаривал ее задержаться, но безнадежно — она не могла опаздывать и ушла.

Не успела она покинуть квартиру — раздался выстрел.

Маяковский стрелял левой рукой — он был левшой. Стрелял из недавно подаренного ему маленького браунинга. Пуля попала в самое сердце.

Полонская потом рассказывала, что у нее подкосились ноги, когда она услышала выстрел. Она стала кричать и метаться по коридору… В первую минуту у нее не хватило сил заставить себя открыть дверь в комнату…

Когда я прибежал, Вероники уже не было. Выяснилось, что она только недавно, на том же самом злополучном такси, на котором приехала с Маяковским, почти в невменяемом состоянии отправилась в театр. Очевидно, сразу после отбывшей «Скорой помощи».

У комнаты Маяковского — милиционер, вызванный с поста на Лубянской площади, Никого не впускает, хотя дверь и открыта.

Соседи на короткое время отошли от дверей. Я упросил милиционера впустить меня в комнату.

На полу — широко раскинувшееся по диагонали тело. Лоб теплый, глаза приоткрыты…

В эту минуту я остался один — нет, не один, а один на один с неживым Маяковским. Невозможно было поверить, что его нет… Казалось, что он вот-вот пересилит смерть, встанет и скажет: «Это я пошутил: надо жить, надо работать!»

Но как он сам писал:

…нету чудес, / и мечтать о них нечего.

На письменном столе телефон. Позвонил в ЦК партии, в ФОСП и на «Красную розу» Людмиле Владимировне.

Когда я выглянул на площадку, моим глазам предстала тяжелая картина: по лестнице, едва передвигая ноги, поднималась Полонская в сопровождении помощника директора МХАТа Ф.Н. Михальского: самостоятельно, как мне кажется, она

не дошла бы. Она направилась не в эту квартиру, а в соседнюю, где ее ждал товарищ, снимавший следствие.

…По лестнице бегут двое мужчин: Керженцев и Кольцов. (Они были а ЦК, когда я туда звонил). Приехали сестры Маяковского — Людмила и Ольга… Появились друзья, близкие знакомые, поэты и писатели.

К вечеру тело Маяковского перевезли в Тендряков переулок. Скульпторы А. Луцкий и С. Меркуров сняли маски с лица и слепки рук.

15, 16 и 17 апреля перед гробом Маяковского в клубе писателей прошло около 150000 человек. В почетном карауле стояли красноармейцы Московской Пролетарской стрелковой дивизии, художники, журналисты, актеры, студенты, писатели — Николай Асеев, Демьян Бедный, Феликс Кон, Василий Каменский и другие.

17 апреля в 3 часа дня Сергей Третьяков открывает траурный митинг. С балкона клуба писателей выступают Халатов — заведующий Госиздатом, Любимова (от Моссовета), Авербах (от РАППа).

Кирсанов читает «Во весь голос»…

Улица Воровского оцеплена конной милицией. Повсюду люди: на крышах, окнах, карнизах.

Говорит А.В. Луначарский:

— Каждый, кто получил весть о смерти Маяковского, в первый момент никак не мог этому поверить. Маяковский был, прежде всего, куском напряженной и горящей жизни, когда сделался рупором величайшего общественного движения, когда от имени миллионов о судьбах миллионов он стал говорить миллионам… Маяковский — поэт того будущего, которое мы строим и за которое мы боремся. В его честь еще много споется песен… Нерукотворный памятник он воздвиг себе, такой сияющий, такой необычайный во всей истории мировой литературы…

Говорит Константин Федин:

— Маяковский занял среди нас, его современников, громадное место. Маяковский был и остался для нас учителем, он показал, как можно счастливо совместить «два меча» — меч борьбы в литературе за ее процветание и меч общественной борьбы за победу самых высоких идеалов человечества.

Семнадцатого апреля 1930 года я вместе с тысячами почитателей Маяковского прощался с ним, провожая его прах в крематорий. Специально оформленный художниками А. Дейнекой, В. Татлиным и другими грузовик с гробом вел Михаил Кольцов.

Но великие поэты не умирают. «Как живой с живыми» разговаривает он с нами и сегодня. Он придет и в наше коммунистическое завтра. И я счастлив, что знал и любил этого человека и могу рассказать о нем людям.

notes

Примечания

1

До того как написать письмо в газеты, Маяковский попросил меня и члена райкома МОПРа Шабера Б.Н. изложить факты, которым мы были свидетелями. Впоследствии я обнаружил эти наши объяснения в записной книжке Маяковского. Там отмечено, что организаторы вечера Медяник и Кулаков согласились с предложением Маяковского выступить бесплатно. Начальник клуба запретил бесплатные выступления и велел публике расходиться, «невзирая на то, что… Маяковский предлагал немедленно начать лекцию, с тем перенести обсуждение этого вопроса в соответствующие инстанции на следующий день». Через несколько дней Маяковский выступил в Севастополе в зале горсовета.

2

Маяковский родился 7 июля 1893 года (по старому стилю); любопытно, что его отец, Владимир Константинович, родился 7 июля 1857 года.

3

Стихотворение написано 5 июля 1925 года, в день приезда в Гавану.

4

Владельцы крупных фирм.

5

В то время у Советского Союза не было дипломатических отношений с Испанией.

6

«Синяя блуза» — эстрадные группы — вид агитационного эстрадно-драматического представления в советском театре 20-х годов.

7

В вагоне, во время перестрелки, Иоганн Махмасталь (1889-1942) был тяжело ранен. В Риге на вокзале, истекая кровью, он отказался от госпитализации, героически охраняя диппочту, заявив при этом, что не сдаст ее до тех пор, пока не явится человек, которого он лично знает. По этой причине прибывшему сюда секретарю советского посольства он почту не сдал. И только дождавшись своего знакомого тов. Шешнева (генерального консула), Махмасталь выполнил свой долг и перешел на попечение врачей.

8

Роман Якобсон (1896-1977) — филолог, лингвист. Работал в Гарвардском университете (США) с 30-х годов.

9

Маяковский приехал в Ростов-на-Дону 5 февраля 1926 года. О несчастье он узнал 6 февраля. Между февралем и ноябрем и написано это стихотворение (оно датировано — 15 июля).

10

Простим поэтическую вольность — с вокзала переезжаем мы не Волгу, а Оку. Но, по существу, все здесь рядышком: Волга и ее приток как бы слиты воедино.

11

Ребята впоследствии стали известными писателями — это Борис Рюриков и Михаил Шестериков.

12

Сережи — название станции в 22 километрах от Арзамаса. В стихотворении — обобщенное имя крестьян.

13

В стихотворении названия станций переставлены: крестьяне ехали от станции Зимёнки до станции Сережи.

14

В. В. Каменский — поэт (1884-1961).

15

Д. Д. Бурлюк — художник (1882-1967).

16

Левый фронт искусств (Леф).

17

Интересное совпадение: Народный дом в 1911-1915 годах строил молодой архитектор Алексей Евгеньевич Яковлев, отец той самой Яковлевой, которой Маяковский адресовал в 1928 г. стихотворения «Письмо Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» (т. IX, с. 381-389).

18

Бася Бисевич в те годы была студенткой. Потом она действительно стала артисткой. Произведения Маяковского занимали большое место в ее репертуаре.

19

Цитата из стихотворения «Письмо Горькому», названного критиком умышленно «статьей в стихах». Мысль поэта здесь искажена.

20

Мне удалось отыскать исчезнувшую было стенограмму диспута (к сожалению, неправленую).

21

В афише стихотворение было озаглавлено: «Имени Бебеля». С эстрады же он объявлял по-разному: «Пиво и социализм», «Рак и пиво». Чаще же всего: «Рак и пиво завода имени…», подчеркивая последнее слово.

22

Маяковский был знаком с Софьей Сергеевной Шамардиной с 1913 года.

23

Это был первый по времени выхода том. Всего же Маяковский успел подготовить к печати восемь томов из десяти.

24

Ныне — проезд Серова, д. 1. Маяковский занимал одну из шести комнат в этой квартире. Это был его рабочий кабинет.

25

Позднее я узнал, что Елизавета Фролова (так звали эту девушку) окончила в 30-х годах Московский пединститут имени В. И. Ленина, проживает во Владимире, где я вторично с ней «познакомился» через 35 лет.

26

В первом издании этой книги (1963 г.), как, впрочем, и в журнале «Знамя» (1940 г.), где печатались мои путевые заметки о Маяковском, я писал, что с этим вопросом Маяковский обратился ко мне в октябре 1927 года при составлении афиши. Через 24 года после опубликования путевых заметок В. А. Катанян («Новый мир», 1964) выправил мою неточность, заявив, что такого разговора быть не могло, так как поэма в это время была уже в печати и, таким образом, я не мог принимать участия в выборе эпитета: «Маяковский остановился на „тихом“, как мы полагаем, совершенно самостоятельно, ни с кем не советуясь по этому поводу». Дело в том, что разговор произошел еще до издания поэмы, и два разговора с Маяковским, по существу, об одном и том же, очевидно, слились в моей памяти. Если же Катанян оказался бы прав, то в таком случае надо взять под сомнение и слова Маяковского по этому поводу на своих выступлениях, приведенные в этой же главе немного ниже: «товарищи отговорили»…

Ныне — Государственный академический театр им. Пушкина.

28

Автор статьи неточно цитировал строки из 17-й главы. Надо: «пою мое отечество, республику мою!»

29

Стихи были закончены в Тифлисе и впервые опубликованы в газете «Заря Востока» 13 декабря 1927 года под общим названием «Баку»: 1. «Я вас не понимаю, мистер Детердинг», 2. «Я вас понимаю, мистер Детердинг».

30

Искаженная цитата из «Необычайного приключения…». У Маяковского: «В сто сорок солнц закат пылал…»

31

У Пушкина — «век уж». Изменение внесено Маяковским намеренно, так как ему не нравилось сочетание слов «век уж». Кто знает, быть может, Пушкин принял бы эту поправку?

32

Село Кутаисской губернии, где родился В. В. Маяковский. Ныне — районный центр Грузинской ССР, переименованный в «Маяковски» в 1940 году.

33

Маяковский читал отрывки из поэмы «Хорошо!».

Впоследствии выяснилось — это был поэт А. Тон.

35

Среди приходивших в этот день к Маяковскому были: молодой поэт П. Хузангай и поэт Н. Шелеби. В тот же день они по записке Маяковского прошли на его выступление.

36

Это из стихотворения «Кемп нит Гедайге» — обращение к тогдашнему президенту США.

37

В стихотворении «Император» есть такие строки: Шесть пудов / (для веса ровного!), / будто правит / кедров полком он, снег хрустит / под Парамоновым, председателем / исполкома.

Думаю, что такие строки поэт вообще не мог экспонировать.

39

Комиссия содействия нуждающимся ученикам.

40

Пародируются строки из стихотворения К. Петерсона «Сиротка».

41

Пародируются строки из «Демона» Лермонтова.

42

Даже врач предписал три дня не выступать.

43

Друг Маяковского, его соавтор по киносценарию «Инженер д'Арси», написанному в Ялте в августе 1927 года.

В дальнейшем стал заместителем редактора областном газеты «Заря».

Впоследствии — директор завода в Днепропетровске.

Оба завода считались в эту пору одним предприятием.

47

Дед поэта, Константин Константинович, — уроженец г. Бериславa на Днепре. Его предки — выходцы из Запорожской Сечи.

48

Имелось в виду стихотворение «Две культуры», которое было впервые напечатано в днепропетровской газете «Звезда» 8 марта 1928 года — к Международному женскому дню. — Сколько дадут, но чтобы хватило на скромную жизнь, не считая компота. Между нами говоря, у меня есть такая мысль: всю свою продукцию сдавать в одно место, в Госиздат, например, а он пусть платит мне зарплату — ну, скажем, рублей пятьсот в месяц. Я думаю, что в конце концов так оно и будет.

49

Обладателя автомобиля в ту пору зачисляли чуть ли не в крезы. Малолитражка Маяковского «Рено» — маленькая, не под стать ее владельцу, казалась роскошью.

50

В книге — «класс-то», но Маяковский читал с эстрады именно так и еще добавлял слово «он».

51

Маяковский почти дословно передавал то, что говорил В. И. Ленин на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 года (В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 45, с. 13).

52

У Лермонтова — «просит бури», но Маяковский читал — «ищет».

53

Запомнился эпизод, имеющий отношение к поэту Василию Каменскому. В большой аудитории Политехнического музея — его творческий вечер. Это было, если не ошибаюсь, зимой 1923 года. Народу много, но задние ряды свободны. Я сижу высоко (если учесть, что там ступенчатый зал). Внезапно во время чтения «Степана Разина» в крайнюю дверь входит на цыпочках, сгорбившись, рослый мужчина и садится в последнем ряду. Это — Маяковский. Каменский темпераментно вонзает в зал:

Сарынь на кичку! / Ядреный лапоть / Пошел шататься / по берегам.

В зала дружно зааплодировали. Мощный бас перекрыл аплодисменты:

— Бра-во, Ва-ся!

Поначалу Каменский растерялся. Но потом быстро сообразил:

— Володечка, дорогой! Ну что ты так высоко забрался. Спускайся вниз!

Маяковский в ответ:

— Я и здесь услышу! Работай дальше!

54

См. в начале главы «Программные вечера» объяснительную записку, составленную Маяковским.

Багрицкий и Луговской перешли в РАПП из группы конструктивистов.

Имеется в виду В. Славинский, который работал в типолитографии, где печатался журнал «Печать и революция». Он поднял с пола один из вырванных портретов (на меловой бумаге) и унес с собой. В. Славянский вел протокол вечера, о кенаром идет речь.

В рукописи воспоминаний В. Славинского, хранящейся в Государственном музее В. В. Маяковского, говорится, что Славинский в этот вечер не показывал Маяковскому вкладку, а лишь обещал показать ее 11 апреля.

Я полагаю, что это расхождение объясняется травмой Славянского, связанной со смертью Маяковского 14 апреля.

Я пишу о том, чему лично был свидетелем.